

К ИСТОРИИ ОДНОЙ ЭПИГРАММЫ ТРЕДИАКОВСКОГО
(ЭПИЗОД ЯЗЫКОВОЙ ПОЛЕМИКИ СЕРЕДИНЫ XVIII В.)

Профессору Герте Хютль-Фольтер к ее шестидесятилетию

1. Эпиграмма Тредиаковского “Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный...” – впервые обнаруженная Афанасьевым (1859, стлб. 518–520) по рукописи так называемого Казанского сборника,¹ перепечатанная затем Сухомлиновым (II, примечания, 138–139) и, наконец, недавно опубликованная в изд. “Поэты XVIII века” (II, 392–393) по той же рукописи с исправлениями по списку Г. Ф. Миллера² – датируется обычно либо 1753-м г. (Ломоносов, VIII, 1025; Поэты XVIII века, II, 393), либо 1755-м г. (Пекарский 1865, 101; Пекарский, II, 179; Сухомлинов, II, примечания, 138–139). Основания для той и другой датировки будут рассмотрены ниже, тогда же будет предложена и более точная дата; пока нам достаточно констатировать, что эпиграмма эта написана – во всяком случае – в первой половине 1750-х гг.

Рассматриваемое произведение с полным основанием может считаться программным произведением, мимо которого не может пройти историк русского литературного языка XVIII в. В самом деле, здесь в полемической форме изложена языковая программа Тредиаковского во второй период его творчества. Если в молодости Тредиаковский ориентируется на западноевропейскую языковую ситуацию, стремясь перенести ее на русскую почву – иначе говоря, он стремится организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы, ориентировать его на разговорную речь и таким образом создать здесь литературный язык того же типа, что западноевропейские литературные языки, – то во второй период творчества (со второй половины 1740-х гг.) он, напротив, исходит из признания специфики языковой ситуации в России по сравнению с ситуацией во Франции или Германии и провозглашает необходимость дистанции между литературным и разговорным языком, как это имело место и ранее – в условиях церковнославянско-русской диглоссии, когда литературным языком был язык церковнославянский (см.: Успенский 1976; относительно диглоссии на Руси см. вообще: Успенский 1983). Подобно церковно-

славянскому (“славенскому”) языку, русский литературный язык (“славенороссийский”) понимается теперь Тредиаковским как язык книжный, письменный по преимуществу, который в принципе не может использоваться в качестве средства разговорного общения. Можно сказать, что Тредиаковский на этом этапе стремится воссоздать ситуацию диглоссии в специальных рамках гражданского языка: русский литературный язык мыслится, в сущности, как гражданский вариант церковнославянского, приспособленный к расширяющимся потребностям литературного развития. Отсюда определяется отношение как к церковнославянской языковой традиции, так и к разговорной речевой стихии. Если молодой Тредиаковский демонстративно отказывается от “глубокословных славенщизны” и призывает ориентироваться на разговорную речь (предисловие к “Езде в остров Любви” 1730 г. – Тредиаковский 1730, [12]; Тредиаковский, III, 649), то позиция зрелого Тредиаковского диаметрально противоположна: “гражданский” литературный язык должен отталкиваться от разговорного (“самого общего”) и ориентироваться на церковнославянский; церковнославянский, соответственно, провозглашается “мерой чистоты” русской речи (см. ниже). Опора на церковнославянскую литературно-языковую традицию и определяет, по мысли Тредиаковского, специфику русской языковой ситуации по сравнению с западноевропейской: в отличие от французского и немецкого языков, “не имеющих кроме гражданского употребления”, русский литературный язык имеет специальную книжную (литературную) языковую традицию, противопоставленную разговорной; отсюда “скудость и теснота Французская” противопоставляется “богатству и пространству Славенороссийскому” (предисловие к “Тилемахиде” 1766 г. – Тредиаковский 1766, стр. LX, примеч. и стр. LI; Тредиаковский, II, 1, стр. LXXIV, примеч. и стр. LXIII). Нетрудно заметить, что эта позиция очень близка к позиции Ломоносова, который также подчеркивает значение церковнославянской языковой традиции для создания русского литературного языка и, соответственно, специфику русской языковой ситуации: “...преимуществом Российский язык перед многими нынешними Европейскими, пользуясь языком Славенским из книг церковных” (рассуждение “О пользе книг церковных в российском языке” 1758 г., ср. также § 116 ломоносовской “Российской грамматики” 1757 г. – Сухомлинов, IV, 227 и 53; Ломоносов, VII, 589 и 431). Эта позиция Ломоносова сложилась, может быть, под влиянием Тредиаковского; во всяком случае Тредиаковскому, несомненно, принадлежит приоритет в этом отношении.³

Именно эта языковая программа и сформулирована Тредиаковским в рассматриваемой эпиграмме, причем впервые она находит столь ясное, последовательное и декларативное выражение. Тредиаковский призывает здесь писателей “вникнуть в язык славенский наш степенный” и читать “святые книги”:

Славенский наш язык есть правило неложно,
 Как книги нам писать, и чище коль возможно,
 В гражданском и доднесь, однак не в площадном,
 Славенском по всему составу в нас одном.
 Кто ближе подойдет к сему в словах избранных,
 Тот и любее всем писец есть, и не в странных.
 У немцев то не так, ни у французов тож:
 Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
 Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
 Не щогольков, ниже и грубый деревенский.

Итак, “гражданский, но не площадной”, т.е. русский литературный язык совпадает в своем составе с “славенским”, т.е. церковнославянским языком, поэтому “кто ближе подойдет к сему в словах избранных, тот и любее всем писец есть”;⁴ одновременно Тредиаковский предупреждает против употребления “странных”, т.е. заимствованных слов, причем противопоставление славянизмов и заимствований (европеизмов) осмысливается, видимо, в плане оппозиции книжного и разговорного начала: славянизмы относятся к книжной языковой стихии, а европеизмы – к разговорной (ср.: Лотман и Успенский 1975, 238–239). Тредиаковский иллюстрирует свою мысль, приводя примеры этих “избранных слов” в литературном языке, которые предполагают ориентацию на церковнославянский и отталкивание от русского разговорного языка. Он рекомендует своему литературному противнику:

Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный,
 Престанет злобно врать и глупством быть надменный:
 Увидит, что там *злой* кончится нежно *злый*
 И что *чермной мигун* – *мигатель* там *чермный*,
 Увидит, что там *коль* не за *когда*, но только
 Кладется, как и долг, в количестве за *сколько*.
 Не *голос* чтется там, но сладостнейший *глас*;
 Читают *око* все, хоть говорят все ж *глаз*;
 Не *лоб* там, но *чело*, не *щеки*, но *ланины*,
 Не *губы* и не *рот* – *уста* там багряниты;

Не *нынь* там и не *вал*, но *ныне* и *волна*.
 Священна книга вся сих нежностей полна.
 Но где ему то знать? он только что зевает,
 Святых он книг отнюдь, как видно, не читает . . . ⁵

Провозглашая свою языковую программу, Третьяковский одновременно столь же ясно формулирует и программу своего оппонента – того, на кого направлена данная эпиграмма, – причем оказывается, что программа эта совпадает с программой самого Третьяковского в первый период творчества. Таким образом, этот оппонент является, в сущности, последователем молодого Третьяковского, он фактически стоит на позициях, сформулированных Третьяковским в его программных выступлениях 1730-х гг.; полемика Третьяковского оказывается – под известным углом зрения – полемикой с самим собой. В самом деле, оппонент Третьяковского характеризуется как сторонник ориентации на разговорное (“площадное”) употребление. Подобно молодому Третьяковскому, он призывает писать, как говорят, т.е. стремится привести русский литературный язык в то же отношение к разговорной речи, какое имеет место во Франции или Германии, построить его по западноевропейской модели:

За образец ему в письме пирожной ряд,
 На площади берет прегнусной свой наряд,
 Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
 А просто говорить по-дружески – другое.

.....
 У немцев то не так, ни у французов тож:
 Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
 Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
 Не щогольков, ниже и грубый деревенский.

Ср. также:

Он красотой зовет, что есть языку вред:
 Или ямщицей вздор, или мужицкий бред.
 Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный . . .

Соответственно, этот оппонент Третьяковского предстает как противник славнизмов:

Ты ж, ядовитый *змей*, или как любишь – *змея*,
 Когда меня язвить престанешь ты, злодей!

На кого же направлена эпиграмма Третьяковского? Вопрос этот представляется существенным. В самом деле, языковая программа

молодого Тредиаковского (а также близкого к нему в это время Адодурова) – установка на разговорную речь, отказ от славянизмов и в конечном счете требование писать, как говорят, – обнаруживает разительное сходство с позднейшей программой карамзинистов; можно сказать, что в обоих случаях имеет место сознательная ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию. Это сходство позволяет видеть в деятельности молодого Тредиаковского начало того процесса, который получает окончательное оформление и более или менее широкое признание лишь к концу XVIII в. (см.: Успенский 1976, 40; ср. также: Успенский 1975). Тредиаковский отказывается от этой программы, но, как мы видим, она продолжает пользоваться успехом: ее сторонником является, в частности, литературный противник Тредиаковского. Необходимо найти связующее звено между молодым Тредиаковским и карамзинистами, и ответ на сформулированный вопрос может способствовать решению этой общей проблемы.

2. Обстоятельства появления эпиграммы Тредиаковского более или менее очевидны. Она является ответом на сатиру Ломоносова “Искусные певцы всегда в напевах тщатся...” (см. изд.: Сухомлинов, II, 132; Ломоносов, VIII, 542), датируемую 4–11 ноября 1753 г. (см.: Ломоносов, VIII, 1024; Летопись жизни Ломоносова, 225), поводом для написания которой послужили, в свою очередь, предложения Тредиаковского о правописании прилагательных в именительном падеже множественного числа.

Как известно, Тредиаковский в 1746 г. предложил славянизированное правописание, согласно которому прилагательные в мужском роде оканчиваются на *-и*, в женском на *-е*, в среднем на *-я* (см.: Вомперский 1968; Сухомлинов, IV, примечания, 3–26). Это славянизированное правописание прилагательных противостоит правописанию, установленному в 1733 г., и в какой-то мере опирающемуся на традицию приказного языка, которое предписывает окончание *-е* в мужском роде, *-я* в женском и среднем. Последнее правописание было, возможно, введено Адодуровым, в то время единомышленником Тредиаковского (ср.: Успенский 1974; Успенский 1975, 64–71); во всяком случае Адодуров регламентирует именно такое правописание в своей грамматике 1738–1740 гг. (Успенский 1975, 31–34).⁶ Тем самым, эти противопоставленные друг другу системы орфографии отражают языковые установки, соответствующие разным этапам эволюции взглядов Тредиаковского на литературный язык.⁷

По поручению Академии наук Ломоносов тогда же (в 1746-м г.) написал возражения на предложение Тредиаковского, в которых,

между прочим, ссылаясь на то, что предлагаемое Третьяковским правописание приводит к какофонии: “. . . помянутое окончание на *и* не мало воспящает употреблять Какофония, то есть звон слуху противной, от стечения гласных подобное произношение имеющих; ибо легче выговорить и приятнее слышать: *истинные свидѣтели*, нежели *истинныи свидѣтели*” (Пекарский 1865, 118; Сухомлинов, IV, 3; Ломоносов, VII, 86).⁸ К этому вопросу – и к той же аргументации – позднее Ломоносов возвратится в своей грамматике 1757 г. (в § 119): “Чтож до слуху надлежит, в том уверяют музыканты [в немецком переводе грамматики 1764 г. – *die Sanger* ‘певцы’], которые в протяжных распевах не даром букву *и* обходят, не протягивая на ней долгих выходов, но выбирая к тому *а* или *е*. Сверх того свѣйство нашего Российскаго языка убегает от скучной буквы *и*, которая от окончания неопределенных глаголов и от втораго лица единственнаго числа давно отставлена, и вместо *писати*, *пишеши*, *напишеши*, употребляем, *писать*, *пишешь*, *напишешь*. Также и во множественном числе многих существительных вместо *и* выговаривают и пишут *а*: *облака*, *острова*, *луга*, *льса*, *берега*, *колокола*, *бока*, *рога*, *глаза*, вместо *облаки*, *островы*, *луги*, *льсы*, *береги*, *боки*, и проч. . . . Не должно в Российской язык вводить несвойственных безобразий, каковыя в *истинныи извѣстїи*, и во многих подобных не без отвращения чувствительны” (Сухомлинов, IV, 55–56; Ломоносов, VII, 432–433).⁹ В последней фразе, как видим, – прямая полемика с Третьяковским.¹⁰ То же самое говорит Ломоносов и в своей эпиграмме 1753 г., написанной в период работы над “Российской грамматикой” и отражающей процесс этой работы. Ломоносов и здесь ссылается на требования благозвучия, причем здесь фигурируют те же примеры, что и в цитированном параграфе грамматики. Вот это стихотворение Ломоносова:

Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
 Дабы на букве *а* всех доле остояться;
 На *е*, на *о* притом умеренность иметь;
 Чрез *у* и через *и* с поспешностью лететь:
 Чтоб оным нежному была приятность слуху,
 А сими не принесть несносной скуки уху.
 Великая Москва в языкѣ толь нежна,
 Что *а* произносить за *о* велит она.
 В музыке что распев, то над словами сила;
 Природа нас блюсти закон сей научила.
 Без силы *береги*, но с силой *берега*
 И *снѣги* без нея мы говорим *снѣга*.

Довольно кажут нам толь ясныя доводы,
 Что ищет наш язык везде от *и* свободы.
Или уж стало *иль*; *коли* уж стало *коль*;
Изволи ныне все везде твердят *изволь*.
 За *спиши спишь*, и *спать* мы говорим за *спати*.
 На что же, Трисотин, к нам тянешь *и* не к'стати?
 Напрасно злобной сей ты предприял совет,
 Чтоб л'стя тебе когда Российской принял свет
Свиньи визги вси и дикii и злыи
И истинныи ти, и лживы и кривыи.
 Языка нашего небесна красота
 Не будет никогда попрадна от скота.
 От яду твоего он сам себя избавит,
 И вред сей выплюнув, поверь, тебя заставит
 Скончать твой скверной визг стонанием совы,
 Негодным в русской стих и пропастным *увы!*
 (Сухомлинов, II, 132; Ломоносов, VIII, 542)¹¹

Эпиграмма Ломоносова больно задела Тредиаковского, и он откликнулся на нее как рассматриваемыми стихами (“Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный...”),¹² так и новым трактатом о правописании прилагательных, в котором упоминаются некие авторы, “Эпиграмками играющие” и “безъимянная Пѣса [т.е. пьеса], начинающаяся искусными певцами” (Пекарский 1865, 105, 116). Трактат Тредиаковского обнаруживает разительное сходство с его стихами: в сущности оба произведения говорят об одном и том же – в разной форме. Ср.: “Ведомо, что во-французском языке, дружеский разговор есть правило красным сочинениям [т.е. изящной словесности] (de la conversation a la tribune), для того что у них нет другого. Но у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение есть иное изряднейшее употребление, отменное от простаго разговора, и подобное больше книжному Славенскому, о котором-можно-праведно сказать, что-оно-есть-важное, приятное, дельное, сильное, философическое, приличествующее больше высоким наукам, нежели нежным, для того что Славенский язык есть мужественный. Никто не пишет ни письма о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора: так что сие всеобщим у нас правилом названо быть может, что «кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому языку, или, кто-больше славенских обыкновенных и всех ведомых слов употребляет, тот у нас и не подло пишет, и есть

лучший писец». Не дружеский разговор (*la conversation*) у нас правилом писания; но книжный церковный язык (*la tribune*), который равно в духовном обществе есть живущим, как-и-беседный в гражданстве. Великое наше счастье в сем, пред многими Европейскими народами!» (Пекарский 1865, 109).¹³

Трактат Тредиаковского был написан, по-видимому, в январе 1755 г. или, во всяком случае, не позднее этого времени; 1 февраля 1755 г. Тредиаковский читал свое «рассуждение о правописании прилагательных в именительном падеже множественного числа» на очередном заседании Конференции Академии наук (Протоколы АН, II, 322).¹⁴ Что же касается эпиграммы Тредиаковского, то она, по-видимому, написана несколько раньше трактата о правописании. В самом деле, если в трактате 1755 г. Тредиаковский считает неуместным выражение *небесна красота* в применении к языку (Пекарский 1865, 106), то в своей эпиграмме он и сам употребляет это выражение, не находя, по-видимому, в нем ничего предосудительного:

В небесной красоте – не твоего лишь зыка,
Нелепостей где тьма, – российского языка,
Когда, по-твоему, сова и скот уж я,
То сам ты нетопырь и подлинно свинья!

Итак, эпиграмма Тредиаковского была создана не ранее конца 1753 г. (когда было написано спровоцировавшее ее стихотворение Ломоносова) и не позднее начала 1755 г. (когда был написан трактат Тредиаковского). Поскольку эта эпиграмма обнаруживает явное сходство с трактатом 1755 г., следует думать, что оба произведения относительно близки по времени написания. По-видимому, стихи Ломоносова, посланные И. И. Шувалову между 4 и 11 ноября 1753 г., сразу же после их сочинения (еще в черновом виде – см.: Ломоносов, VIII, 1016, 1024), стали известны Тредиаковскому не сразу, и он написал свой ответ незадолго перед трактатом 1755 г. Таким образом нашу эпиграмму можно смело датировать 1754 годом и с большой вероятностью – второй половиной этого года.¹⁵

3. Так кому же посвящена рассматриваемая эпиграмма Тредиаковского? Ответ на этот вопрос кажется очевидным: после обнаружения ломоносовского автографа стихотворения «Искусные певцы...» (см.: Модзалевский 1937, 83), т.е. после того, как было установлено авторство Ломоносова, почти ни у кого не возникало сомнения в том, что объектом сатирических нападок Тредиаковского является

Ломоносов (см., например: Пекарский, II, 178; Сухомлинов, II, примечания, 136–139; Ломоносов, VIII, 1025; Поэты XVIII века, II, 534; исключение составляет только пронизательное замечание Гуковского 1962, 99). Однако то, что Тредиаковский говорит о языковой позиции своего литературного противника, совершенно не соответствует взглядам Ломоносова на литературный язык. Ломоносов никак не может – по крайней мере в рассматриваемый период – считаться сторонником ориентации на разговорное употребление. Напротив, как мы уже отмечали, его позиция обнаруживает в этот период определенное сходство с позицией Тредиаковского (другое дело, что сходные взгляды могут на практике приводить к существенно различным результатам у того и у другого автора, т.е. реализоваться неодинаковым образом). Тредиаковскому, казалось бы, нет необходимости обращать внимание Ломоносова на специфику русской языковой ситуации и полемически заостренно подчеркивать значение церковнославянской языковой стихии для русского литературного языка: как раз в этих вопросах Ломоносов является его единомышленником.

Правда, некоторые места в стихотворении Ломоносова могут создать впечатление, что автор является сторонником ориентации на разговорную языковую стихию:

*Или уж стало иль; коли уж стало коль;
Изволи ныне все везде твердят изволь.
За спиши спишь, и спать мы говорим за спати.*

Но Ломоносов, в сущности, говорит здесь о другом, а именно о глубинных законах благозвучия, проявляющихся, в частности, и в эволюции русского языка; то же имеет он в виду и тогда, когда говорит о “нежности” московского аканья (см. выше, § 2 наст. работы). Подход Ломоносова, вообще говоря, и в этом случае близок Тредиаковскому, который также пытается опираться в своей нормализаторской деятельности на панхронические закономерности употребления, отвечающие природе данного языка на всех этапах его развития.¹⁶ Тем не менее, цитированные высказывания были восприняты Тредиаковским именно как призыв к коллоквизации литературного языка, и, соответственно, в трактате о прилагательных 1755 г. упоминаются “некоторые народные и стихотворческие вольности, каковы суть сии: *иль*, вместо *или*; *спать*, вместо *спати*” (Пекарский 1865, 106);¹⁷ такую же интерпретацию получает здесь и *коль*, вместо *коли* (там же, с. 109). Совершенно так же и в эпиграмме Тредиаковский подчеркивает, что в “славенском степен-

ном” языке – а следовательно и в русском, поскольку он на него ориентируется, – *коль* означает не “когда”, но “сколько”.

Указанное восприятие обусловлено тем, что Третьяковский отвечает не Ломоносову, а другому своему литературному противнику.¹⁸

Хотя Третьяковский и начинает свою эпиграмму с признания, что он не знает, кто является автором стихотворения “Искусные певцы...”: “Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный...”, есть все основания думать, что у него не было на этот счет никаких сомнений. Он, несомненно, догадывался о том, кто автор этой сатиры, однако догадки его были неверны: не подозревая об авторстве Ломоносова, он приписал это произведение Сумарокову.

В тексте эпиграммы есть совершенно ясные указания на этот счет – почти настолько же ясные, как если бы Сумароков был прямо назван по имени. Об этом со всей определенностью говорят намеки на рыжизну литературного противника Третьяковского и на его привычку моргать (мигать). “Мне рыжу тварь никак в добро не пременить”, – жалуется Третьяковский, язвительно указывая, вместе с тем, что русскому *чермной мигун* соответствует церковнославянское *мигатель чермный*; оба выражения в одинаковой степени рисуют нам облик Сумарокова. Сумароков был рыж и подслеповат, что проявлялось в частом моргании,¹⁹ причем и то, и другое свойство постоянно обыгрывается в направленной против него сатирической литературе – обыгрывается настолько регулярно, последовательно и навязчиво, что упоминание рыжизны или моргания (мигания) становится своего рода литературным штампом, позволяющим сразу и безошибочно узнать, кто является мишенью сатирических нападок; рыжизна и моргание выступают таким образом как своеобразные сигналы при сатирических зашифровках – фактически на правах имени собственного, поскольку прямое наименование в эпиграммах противоречило принятым нормам поведения.²⁰

Примеры подобного обыгрывания нетрудно найти как у Третьяковского, так и у других авторов. Так, Третьяковский в другой эпиграмме, обращенной против Сумарокова (“Надпись на Сумарокова”), говорит о последнем:

Кто рыж, плешив, мигун, заяц и картав,
Не может быти в том никак хороший нрав!

(Афанасьев 1859, 519, примеч.)²¹

На моргание и рыжизну Сумарокова Третьяковский намекает и в “Письме . . . от приятеля к приятелю” (1750 г.): “. . . не дивлюсь, что

поступка нашего Автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка, и с биением сёрдца”;²² “...еще больше трепетало мое сердце с стыда, потóm с негодования, напоследок с сожаления... , нежели Авторovy моргали очи с радости, и с внутренняго самолюбнаго удовольствия”; “...слово *миг*, есть подлое, и следовательно не одическое. Вместо его высоким стилем говорится *мгновение ока*. Может статья, что слово *миг*, Автор предпочитает *мгновению* по привычке своих очей” (Куник 1865, 443, 439, 459).

Наконец, выпад против Сумарокова мы находим и в “Феоптии” Тредиаковского (1754 г.), и именно в том месте, где обсуждается разнообразие человеческой внешности и отражение в чертах лица внутренних свойств личности:

Человек с лица иной есть весьма господствен,
А иной с того ж лица совершенно скотствен;
.....

Зол, кого в знак естество сроду запятнало:
Как плешивых и заик, рыжих так немало.
Хоть чело, и очи, и лице почасту лгут,
Но от моргослепых люди в опыте бегут.

(Тредиаковский 1963, 265)

Полемическая направленность этих стихов не осталась незамеченной современниками, и, соответственно, в доношении московской Синодальной конторы в Синод от 14 декабря 1758 г., посвященном критическому рассмотрению “Феоптии”, цитированный пассаж сопровождается следующим замечанием: “Сие честным и знатным обидно и болше сатирам, а не такой материи прилично” (Центральный Государственный Исторический Архив в Ленинграде, ф. 796, оп. 41, № 238, л. 67 об.; выпиской из этого документа мы обязаны любезности А. Б. Шишкина).²³

Совершенно так же и Ломоносов, высмеивая Сумарокова, вводит те же сигнализирующие признаки. Так, например, в эпиграмме “Злобное примирение господина Сумарокова с господином Тредиаковским” (1759 г.), где Сумароков выведен под именем Аколаста, мы читаем:

Аколаст, злобствуя, всем уши раскричал,
Картавил и сипел [вариант: картавил, шепелял], качался
и мигал...

(Сухомлинов, II, 158; Ломоносов, VIII, 659)

Подобным же образом в притче “Свинья в лисьей коже” (1760–1761 гг.), представляющей собой ответ на притчу Сумарокова “Осел во львовой шкуре” (1760 г.), которую Ломоносов имел все основания принять на свой счет, Ломоносов говорит о Сумарокове:

Надела на себя
Свинья
Лисицы кожу,
Кривляла рожу,
Моргала...

(Сухомлинов, II, 174; Ломоносов, VIII, 737)²⁴

По всей вероятности, намеки на Сумарокова содержатся и в стихотворении Ломоносова “О сомнительном произношении буквы *z* в Российском языке” 1753–1754 гг. (Сухомлинов, II, 286; Ломоносов, VIII, 580–583; разбор этого стихотворения см. в работе: Успенский 1973), ср. здесь:

И кто горазд гадать, и лгать да не мигать,
Играть, гулять, рыгать и ногти огрызать...

Упоминание мигания в условиях литературной полемики того времени не могло быть нейтральным (незначимым, проходным), и мы должны думать, что фраза “горазд мигать” относится к Сумарокову; к нему же может относиться и упоминание “багровых глаз” в этом же стихотворении, т.е. воспаленных, налитых кровью, а также выражение “гневливые враги”, под которыми имеются в виду, по-видимому, Сумароков и Тредиаковский.²⁵ Ломоносов перечисляет здесь тех, кто так или иначе участвует в решении вопроса, которому посвящено вообще данное стихотворение: “где быть *ga* и где стоять *глаголю*”, т.е. вопроса о взрывном или фрикативном произношении буквы *z* в том или ином конкретном слове (см.: Успенский 1973); среди них он упоминает и своих литературных противников – своих “гневливых врагов” – Тредиаковского как представителя ориентации на книжнославянские языковые нормы (предполагающей фрикативное произношение) и Сумарокова как сторонника ориентации на разговорную речь (предполагающей произношение взрывное).

Аналогичный прием мы встречаем и у других авторов – в направленных против Сумарокова эпиграммах. Так, в одной эпиграмме на Сумарокова, автор которой неизвестен (в Казанском сборнике она озаглавлена: “На Сум[арокова] чрез Н.”), читаем:

Хотя учением Аколаст голопер,
Но думает взлететь стихами как Гомер.

Постой! Он впрямь ему изрядно подражает:

Гомер был слеп, он до того же домигает.

(Афанасьев 1859, 520; Сухомлинов, II, примечания, 235)²⁶

В другой эпиграмме (представленной в том же Казанском сборнике) собачка Жучко обращается к Аколасту-Сумарокову со словами:

Я вижу, ты, кобель, назойливый нахал;

Эй, полно наглотиться! ты, красношерстый лыско...

(Афанасьев 1859, 520; Сухомлинов, II, примечания, 235)

Наконец, еще в одной анонимной эпиграмме (все из того же сборника) о Сумарокове говорится:

В одну минуту сто мигов жмур сделал вдруг...

(Афанасьев 1859, 519, примеч.)²⁷

Совокупность подобных фактов не оставляет сомнения в том, что рассматриваемая в настоящей работе сатира Тредиаковского (“Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный...”) метит именно в Сумарокова. Адресат эпиграммы Тредиаковского был совершенно ясен современникам (не случайно в Казанском сборнике эта эпиграмма носит название: “Ответ Сум[арокову] от Тред[иаковского]”, см.: Поэты XVIII века, II, 534). Отсюда, в свою очередь, и стихотворение “Искусные певцы...”, давшее повод для данной эпиграммы, приписывалось именно Сумарокову (например, в миллеровском списке это стихотворение озаглавлено: “Сатира на Третьяковского чрез Суморокова” – Центральный Государственный Архив Древних Актов, ф. 199, № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об.; ср. также Казанский сборник – Афанасьев 1859, стлб. 518–519). До обнаружения ломоносовского автографа этого последнего стихотворения (см. выше) так полагали и исследователи. С обнаружением этого автографа стало очевидно, что “Искусные певцы...” – ломоносовское произведение. Тем не менее, ответная эпиграмма Тредиаковского является ответом Сумарокову, а не Ломоносову.

4. Нетрудно понять, почему Тредиаковский приписал ломоносовскую эпиграмму Сумарокову. В своей эпиграмме Ломоносов называет Тредиаковского “Трисотином”:

На что же, Трисотин, к нам тянешь и не к’стати?

Прозвище Трисотин восходит, конечно, к “Les femmes savantes” Мольера, где под именем Триссотина (Trissotin) выведен аббат Котен (l’abbé Cotin) – салонный поэт, высмеянный Буало;²⁸ однако для Тредиаковского оно должно было ассоциироваться прежде всего с

именем *Тресотиниус*, которым наделил ТрEDIAKовского Сумароков в одноименной пьесе (“Тресотиниус” 1750 г. – Сумароков, V, 297–324). Если Ломоносов прилагает к ТрEDIAKовскому имя мольеровского персонажа, не изменяя его, то Сумароков явно сближает его с фамилией ТрEDIAKовского (*Тресотиниус*); латинизированное окончание *-ус* в сумароковской пьесе соответствует ампула педанта, под маской которого выведен ТрEDIAKовский. Так или иначе, в контексте русской литературной полемики 1750-х гг. прозвище *Трисотин* как наименование ТрEDIAKовского должно было ассоциироваться прежде всего не с Мольером, а с Сумароковым. Ломоносов был, кажется, первым, кто начал пользоваться – пусть в измененном виде – кличкой, пущенной в ход Сумароковым;²⁹ вполне понятно поэтому, что для ТрEDIAKовского естественно было считать автором данной эпиграммы именно Сумарокова. Существенно также и то, что в своем “Ответе на Критику” (1750 г.), продолжающем полемику, вызванную “Тресотиниусом”, Сумароков выступил с критикой правописания прилагательных, насаждаемого ТрEDIAKовским (Сумароков, X, 98).

Приписав сатиру “Искусные певцы...” Сумарокову, ТрEDIAKовский явно усмотрел в ней продолжение тех нападок, которые были начаты Сумароковым еще в эпистолах 1748 г. (будучи продолжены затем в “Тресотиниусе” 1750 г., а также в “Чудовищах” 1750 г., в “Ответе на Критику” 1750 г. и в пародийной песне “О приятное приятство” 1750 г.). Так, в “Эпистоле о русском языке” Сумароков писал о ТрEDIAKовском:

Тот прозой и стихом ползет, и письма оны,
 Ругаючи себя, дает писцам в законы.
 Хоть знает, что ему во мзду смеется всяк;
 Однако он своих не хочет видеть врак.
 Пускай, он думает, меня никто не хвалит,
 То сердца моево нимало не печалит:
 Я сам себя хвалю: на что мне похвала?
 И знаю то, что я искусен дозела.
 Зело, зело, зело, дружок мой ты искусен,
 Я спорить не хочу, да только склад твой гнусен.

(Сумароков, I, 332; Сумароков 1957, 113)³⁰

Между тем, в “Эпистоле о стихотворстве” Сумароков дает ТрEDIAKовскому прозвище “Штивелиус” (Штивелиус – имя педанта из комедии Гольберга), обращаясь к нему со словами:

А ты Штивелиус лиш только врать способен.

(Сумароков, I, 347; Сумароков 1957, 125)³¹

Уместно отметить, что та же комедия Гольберга, из которой Сумароков заимствует прозвище Штивелиус,³² положена им в основу пьесы “Тресотиниус”; при этом гольберговскому “магистру Штифелиусу” соответствует у Сумарокова: “Тресотиниус, педант” (см.: Сухомлинов, II, примечания, 392–399; Рулин 1929, 255–257, 261–263, 266–269; Резанов 1931, 231–234)³³ – в обоих случаях гольберговский персонаж соотносится у Сумарокова с Тредиаковским.

Эпистолы Сумарокова в свое время были отданы на апробацию Тредиаковскому и Ломоносову, и как в своем предварительном отзыве от 12 октября, так и в окончательном отзыве от 10 ноября 1748 г. Тредиаковский указывает на недопустимые “язвительства”, допущенные Сумароковым (Пекарский, II, 131–132; Материалы АН, IX, 473–474, 535, № 579, 650).³⁴ Об “обидах и язвительствах”, учиненных в сумароковских эпистолах, Тредиаковский упоминает и в “Письме . . . от приятеля к приятелю” 1750 г.: “извесный Господин Пиит, после употребленных в эпистолах своих . . . обидах и язвительствах [sic!], не токмо не рассудил за благо от тех уняться, но еще оныя и отчасу больше и несноснейше ныне размножил” (Куник 1865, 437); равным образом и Сумароков свидетельствует в “Ответе на Критику” (1750 г.): “меня он [Тредиаковский] всех пуще не любит, за некоторыя в одной моей Епистоле стихи и за Комедию [“Тресотиниус”], которыя он берет на свой щот” (Сумароков, X, 102). Вполне понятно, что в этом же контексте Тредиаковский воспринимает и эпигramму “Искусные певцы . . .”. Соответственно, в своем ответе на эту эпигramму Тредиаковский говорит, обращаясь к Сумарокову:

Ты ж, ядовитый змий, или как любишь – змей,
 Когда меня язвить престанешь ты, злодей!
 Престань, прошу, престань! к тебе я не касаюсь;
 Злонравием твоим как демонским гнушаюсь.

.....
 Что ж ядом ты блюешь и всем в меня стреляешь, –
 То только злым себя тем свету объявляешь.
 Уймись, пора уже, пора давно, злыдарь!
 Смерть помни, и что есть Бог, правда, мой сударь!

То же говорит Тредиаковский и несколько позднее, отвечая на письмо Сумарокова о сафической и гораціанской строфах (1755 г.): “... Не полноль, Г.М., вам на меня без причин нападать? Я устал отражая ваши обвинения. Более по истинне не хочу; и сие письмо есть последний мой вам ответ, в чем по Христианству и по честности

кленусь, хотя что-вы-ни-бүдете по сем на меня взводить, и чем и как-ни-станете впредь язвить... Позабудьте, прошу, меня; оставьте человека возлюбившаго уединение, тишину, и спокойствие своего духа. Дайте мне препровождать безмятежно остаточныи мои дни в некоторую пользу общества по званию моему, и по делам положенным на меня от главных моих. Попустите мне несмущенно размышлять иногда и о совести моей: настанет время и мне туда явиться, куда-должно-всём человекам. Там не спросят меня, знал ли я хорошую силу в Сафической и Горацианской строфах, но был ли добродетельный христианин... Паки, и паки прошу, оставьте меня отныне в покое” (Пекарский, II, 256–257).

5. Итак, Тредиаковский явно связывает эпиграмму “Искусные певцы . . .” с сумароковскими эпистолами 1748 г.: он видит в них те же “язвительства” и приписывает их одному автору. Соответственно, в рассматриваемой сатире Тредиаковского мы находим прямую полемику с сумароковской “Эпистолой о русском языке”. Когда Тредиаковский говорит о специфике русской литературно-языковой ситуации, о том, что русский литературный язык, в отличие от литературных языков Западной Европы, не совпадает с разговорным, он полемизирует, видимо, с Сумароковым, который в своей эпистоле призывает именно ориентироваться на западноевропейскую языковую ситуацию:

Для общих благ мы то перед скотом имеем,
 Что лутче, как они,³⁵ друг друга разумеем,
 И помощь слов пространна языка,
 Все можем изъяснить, как мысль ни глубока.
 Описываем все и чувство и страсти,
 И мысли голосом делим на мелки части.
 Прияв драгой сей дар от щедрого Творца,
 Изображением вселяемся в сердца.
 То, что постигнем мы, друг другу сообщаем,
 И в письмах то своих потомкам оставляем.
 Но не такие, так полезны языки,
 Какими говорят Мордва и Вотяки³⁶:
 Возьем себе в пример словесных человек:
 Такой нам надобен язык, как был у Греков,
 Какой у Римлян был, и следуя в том им,
 Как ныне говорит Италия и Рим,
 Каков в прошедший век прекрасен стал Французской.
 Иль на конец сказать, каков способен Русской.

(Сумароков, I, 331, стр. 363; Сумароков 1957, 112, стр. 134)

Таким образом, по мысли Сумарокова, литературный язык должен основываться на разговорной речи просвещенного общества; непосредственным образцом при этом выступает французский язык: русский язык способен стать таким же, каким стал французский.³⁷ Ориентация на разговорную речь предстает при этом как необходимое условие литературного творчества, и, соответственно, в той же эпистоле Сумароков подчеркивает, что

... кто не научен исправно говорить,
Тому не без труда и грамотку сложить.

(Сумароков, I, 333; Сумароков 1957, 113)³⁸

Одновременно Сумароков выступает здесь против славянизмов – именно постольку, поскольку они неупотребительны в разговорной речи, т.е. не соответствуют принятому “обычаю” (употреблению):

Коль, *аще, точию*, обычай истребил;
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил?

(Сумароков, I, 335; Сумароков 1957, 115)

Слово *обычай* в этом контексте предстает как калька с фр. usage.³⁹

Установка на употребление проявляется и в следующем пассаже из сумароковской “Эпистолы о русском языке”:

Но лъзя ли требовать от нас исправна слога;
Затворена к нему в учении дорога.
Лиш только ты склады немного поучи,
Изволь писать Бову, Петра златы ключи.
Подъячий говорит: писание тут нежно,
Ты будеш человек, учися лиш прилежно.
И я то думаю: что будеш человек;
Однако грамоте не станеш знать во век.

(Сумароков, I, 334; Сумароков 1957, 114)

Сумароков воспринимает язык “Бовы” или “Петра Златых Ключей” как книжный язык⁴⁰: “нежным”, т.е. русским языком он является только в перспективе подъячего.⁴¹ По мнению Сумарокова, русскому языку надо учиться не по складам, а исходя из естественного употребления – иными словами, учиться следует не письменному (книжному), но разговорному языку.⁴² Позднее Тредиаковский в “Письме . . . от приятеля к приятелю” (1750 г.) полемизирует с этим местом сумароковской эпистолы, говоря: “...Автор мало печется о наших ударениях, или лучше, не хочет их знать, для того что сие до букв, и из них до складов принадлежит: ему токмо надобны речи и не зная складов, а сие значит, и не зная азбуки”

(Куник 1865, 450).⁴³ Это замечание Третьяковского может служить комментарием к цитированным стихам Сумарокова.

Итак, Сумароков в “Эпистоле о русском языке” ориентирует русский литературный язык на разговорное употребление – в соответствии с тем, как устроен французский литературный язык, – выступая при этом как противник славянизмов. Как мы уже отмечали, эта языковая программа соответствует взглядам, провозглашенным в свое время молодым Третьяковским, – последователем которого, в сущности, и является Сумароков.

6. Вполне закономерно, ввиду вышеизложенного, что мы находим существенные совпадения между рассматриваемой эпиграммой Третьяковского и его “Письмом... от приятеля к приятелю” (1750 г.) – это и естественно, поскольку оба произведения непосредственно посвящены критике Сумарокова. Так, мысль о том, что языковые погрешности Сумарокова происходят прежде всего от недостаточного знакомства с церковнославянским языком, от того, что

Святых он книг отнюдь, как видно, не читает, –

находит точное соответствие в “Письме... от приятеля к приятелю”. Подытоживая критическое рассмотрение сочинений Сумарокова, Третьяковский здесь заключает: “Толикии недостатки. . . проистекают из перваго и главнейшаго сего источника, именнож, что не имел в малолетстве своем Автор довольнаго чтения наших Церковных книг; и потому нет у него ни обилия избранных слов, ни навыка к правьльному составу речей между собою” (Куник 1865, 495–496);⁴⁴ именно недостаточным знакомством с церковными книгами Третьяковский объясняет, в частности, как синтаксические ошибки Сумарокова,⁴⁵ так и случаи семантически неправильного употребления славянизмов.⁴⁶ Церковные книги, таким образом, предстают для Третьяковского не только как регулятор стилистической правильности (что выражается в обилии “избранных слов”, т.е. славянизмов), но и как критерий, позволяющий судить о правильном употреблении того или иного слова – как на грамматическом, так и на семантическом уровне. При этом мысль о том, что чтение церковных книг способствует обилию “избранных слов” и стилистической чистоте, высказанная в “Письме . . . от приятеля к приятелю”, также содержится в нашей эпиграмме:

Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги нам писать, и чище коль возможно,
.....

Кто ближе подойдет к сему [славенскому языку] в словах
избранных,
Тот и любее всем писец есть . . .
.....
... нашей чистоте вся мера есть славенский . . .⁴⁷

Вместе с тем, в “Письме . . . от приятеля к приятелю” Тредиаковский объясняет языковые неудачи Сумарокова и тем, что “полагается он больше надлежащаго на Французских писателей” (Куник 1865, 496). Французская литература эксплицитно противопоставляется при этом церковным книгам, задающим образец правильного употребления: “Не лучше ли . . . Автору приняться за наши прежде [т.е. церковные] книги, дабы научиться правьльному сочинению? Расин научит токмо вздыхать по пустому; а Боалó-Депрó всех язвить и лучше себя: но оба сии нашему языку не научат” (там же, 449).⁴⁸ Тредиаковский явно полемизирует в данном случае с эпистолой Сумарокова о русском языке (см. выше, § 5 наст. работы); полемика с этой эпистолой представлена, как мы видели, и в рассматриваемой эпиграмме.

Совпадения с “Письмом . . . от приятеля к приятелю” наблюдаются и в конкретных деталях. Так, в “Письме . . .” Тредиаковский говорит о Сумарокове: “должно видеть ложныя знаменования, данныя от Автора словам, а сие происходит от того, что Автор отнюд не знает кореннаго нашего языка Славенскаго. Пишет он *коль* производя от подлаго *коли*, за *когда* и *ежели*, весьма неправо и развращенно . . ., потому что *коль* значит *колико*” (Куник 1865, 479). То же говорится и в эпиграмме

Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный,
Престанет злобно врать и глупством быть надменный:
.....
Увидит, что там *коль* не за *когда*, но только⁴⁹
Кладется, как и долг, в количестве за *сколько*.

О том, что *коль* не следует употреблять, производя “от подлаго *коли*, вместо презряднаго *когда*”, Тредиаковский упоминает затем и в трактате о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский 1855, 109), непосредственно связанном, как мы уже знаем, с нашей эпиграммой. Этот пример имеет особое значение, поскольку он фигурирует и в эпиграмме Ломоносова “Искусные певцы . . .”:

Или уж стало *иль*; *коли* уж стало *коль*;
.....
На что же, Трисотин, к нам тянешь *и* не к’стати?

Как видим, Ломоносов в своей трактовке формы *коль* совпадает в данном случае с Сумароковым (которого критикует за это Третьяковский в “Письме. . . от приятеля к приятелю”); совпадение такого рода, наряду с употреблением прозвища *Трисотин*, должно было укрепить Третьяковского в мысли, что эпиграмма “Искусные певцы. . .” написана Сумароковым.⁵⁰

7. Критикуя Сумарокова, как мы видели, Третьяковский обвиняет его в “площадном”, “мужицком” употреблении:

Он красотой зовет, что есть языку вред:
Или ямщицей вздор, или мужицкий бред.

.....

За образец ему в письме пирожной ряд,
На площади берет прегнусной свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески – другое.

Противопоставляя “гражданский”, т.е. русский литературный язык, “площадному”, Третьяковский утверждает:

. . .нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, ниже и грубый деревенский.

Равным образом и в “Письме. . . от приятеля к приятелю” Третьяковский усматривает в сочинениях Сумарокова “площадное”, “сельское”, “подлое” употребление: “у Автора и сельское употребление, есть правильное и красное”, “всеж то не основано у него на Грамматике, и на сочинении наших исправных книг, но на площадном употреблении”, “многие он речи составляет подлым употреблением”, “настоящая деепричастия за прошедшия пишет по площадному” и т.д. и т.п. (Куник 1865, 469–470, 476, 477, ср. еще 459, 479, 482).⁵¹ Поскольку объектом подобных нападок является аристократ Сумароков, невозможно понимать эти слова в буквальном социолингвистическом смысле – речь идет здесь об ориентации на разговорную языковую стихию. В частности, эпитет *сельский* представляет собой, надо полагать, буквальный перевод лат. *rusticus*, ср. лат. *lingua rustica* как обозначение языка, противопоставленного книжной латыни.⁵² Такой же смысл имеют, по всей видимости, и эпитеты *грубый деревенский*,⁵³ а также *мужицкий* в нашей эпиграмме – “сельское”, “деревенское”, “мужицкое” выступают, таким образом, как общие характеристики разговорной речи.

Совершенно аналогично в статье о правописании прилагательных

1755 г. Тредиаковский говорит: “кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому языку, или, кто-бóльше славенских . . . слов употребляет, тот у нас и не подло пишет” (Пекарский 1865, 109); как видим, *писать подло* означает у Тредиаковского, в сущности, “писать, как говорят” – поскольку Сумароков ориентирует литературный язык на разговорное употребление, он пишет “подло”, “по площадному”. Вместе с тем, и “площадное” употребление противопоставляется у Тредиаковского именно “славенскому” языку: соответственно, в отзыве (1748 г.) на сумароковскую трагедию “Гамлет” Тредиаковский критикует “неравность стиля”: “инде весьма по славенски сверх Театра, а инде очень по площадному ниже Трагедии” (Материалы АН, IX, 461, № 576; Пекарский, II, 130); в точности такой же смысл имеет, конечно, и противопоставление “площадного употребления” и “грамматики” в “Письме. . . от приятеля к приятелю” (Куник 1865, 476) – речь идет о выборе между разговорным и книжным началом, и именно с этих позиций Тредиаковский критикует здесь Сумарокова. “Подлое” и “площадное” оказываются, таким образом, у Тредиаковского равнозначными характеристиками,⁵⁴ которые появляются в том же семантическом ряду, что и “сельское” или “деревенское” и т.п.

Наконец, и слово “простонародный” применительно к характеристике языка и стиля выступает у Тредиаковского в том же значении. Соответственно, в “Разговоре. . . об орфографии” 1748 г. Тредиаковский подчеркивает “необходимость различия между простонародным и подлым языком с таким, которому надлежит быть благороднее и чище, длятого что сей последний долженствует употребляем быть в писменных и ученых сочинениях” (Тредиаковский 1748, 295; Тредиаковский, III, 200): *простонародный* и *подлый* здесь предстают как синонимы, причем если *простонародный* антитетически соотносится с *благородным*, то *подлый* так же соотносится с *чистым*. Поскольку эпитет *простонародный*, как и *подлый*, у Тредиаковского относится к разговорной речи (всех слоев общества), эпитет *благородный* может служить ему для характеристики славянизмов, т.е. относиться к языку высокого слога, а не к языку высшего (аристократического) общества. Соответственно, в статье о правописании прилагательных 1755 г. “простонародные” окончания прилагательных, введенные в 1733 г. и ориентированные на традицию приказного языка (см. выше, § 2 наст. работы), противопоставляется “благородному” правописанию, ориентированному на церковнославянскую традицию.⁵⁵ Между тем, в письме к Г. Ф. Миллеру от 7 августа 1757 г., посвященном редакционным исправлениям в его

(Третьяковского) статье “О беспорочности и приятности деревенския жизни” (опубликованной в июльской книжке “Ежемесячных сочинений” за 1757 г.), Третьяковский заявляет: “*искаживать* . . . благороднейшее, нежели *выскаживать*” (Разоронова 1959, 210) и, вместе с тем, говорит об употребленном им глаголе *восследствовать*: “Подлинно, он есть не простонародный: да можно ж было приметить, что и сочиненийце-мое-все удаляется несколько от площадныя грязи” (там же, 209–210). Протестуя в том же письме против замены причастной формы деепричастием на *-чи* (*снимающий* – *снимаючи*), Третьяковский замечает: “Деепричастия-на-(*чи*), кроме *будучи*, в высоком стиле, а особливо в стихах, не сносны . . . Удивительно, чего ради Справщик силою меня толкает в грязь и в тесноту площади? Я люблю всегда не за многими пробираться там, где чище” (там же, 214); “грязь” площадной речи явно противопоставляется при этом “чистоте” церковнославянского языка и соотнесенного с ним высокого слога. Можно с уверенностью утверждать, что, говоря о площадной грязи, о подлости, простонародности, Третьяковский не имеет в виду навыков низших слоев общества и вообще какого бы то ни было социального противопоставления. Так, например, он говорит здесь же о “подлом выговоре”, не различающем *ѣ* и *е* (215); но различение *ѣ* и *е*, описанное Третьяковским в “Разговоре. . . об орфографии”, было присуще исключительно норме книжного произношения и отнюдь не было свойственно разговорной речи, включая сюда и речь культурной и социальной элиты – следует полагать, что и сам Третьяковский не различал соответствующие звуки в обычном разговоре (ср.: Успенский 1968, 29 сл., 54 сл.; Успенский 1971, 13–15; Успенский 1975, 187, 192).⁵⁶

Не исключено, что с упоминанием “площадной грязи”, столь характерной вообще для Третьяковского, как-то соотносится выражение *парнаска грязь*, выступающее в нашей эпиграмме как наименование Сумарокова:

Тебе ль, парнаска грязь, маратель, не творец,
Учить людей писать, ты истинно глупец . . .

Действительно, в контексте обвинения Сумарокова в “площадном употреблении” это наименование приобретает особые коннотации.

Итак, такие стилистические характеристики, как *подлый*, *простонародный*, *благородный* и т.п., относятся у Третьяковского в данный период к противопоставлению книжного (литературного) и разговорного языка, но не имеют отношения к социолингвистическому расслоению общества, т.е. к социальной диалектологии. Свойственное

Тредиаковскому употребление эпитетов *подлый* и *благородный* высмеивает Сумароков в “Тресотиниусе” (1750 г.), где педанты Тресотиниус и Бобембиус спорят о форме буквы *т* (Тресотиниус выступает за “твердо об одной ноге”, а Бобембиус – за “треножное твердо”), причем Тресотиниус говорит: “Твое твердо есть подлое и по премногу подлое, а мое благородное, и не только Славено-Руссийское, но и Греческое” (Сумароков, V, 306);⁵⁷ одновременно педант Бобембиус величает слугу Кимара “высоко-благородным господином” (там же, 305). Поскольку “треножное твердо” ассоциируется со скорописью, а “твердо об одной ноге” – с книжным (“славенским”) письмом, в их противопоставлении усматривается оппозиция русской (разговорной) и церковнославянской языковой стихии, которая в терминологии Тредиаковского, действительно, соответствует противопоставлению “подлого” и “благородного” употребления – Сумароков в своей пародии на Тредиаковского в общем совершенно правильно передает тот принцип, из которого исходит Тредиаковский.⁵⁸

Сам Сумароков последовательно употребляет эпитеты *подлый* и *благородный* как социальные и, в частности, социолингвистические характеристики, ср., например, критику выражения “Нептун чудился” в оде Ломоносова: “*Чудился* слово самое подлое и так подло как *дивовался*. Нептун не чудился, удивлялся” (“Критика на Оду”, не позднее 1751 г. – Сумароков, X, 84); в другом месте он объясняет языковые погрешности Ломоносова его происхождением “от поселян”, противопоставляя происхождение Ломоносова собственному “благородству” (“О правописании” 1768–1771 гг. – Сумароков, X, 7–8). В заметке “Истолкование личных местоимений...” (1759 г.) Сумароков протестует против того, что *ты* “ныне зделано местоимением подлым”, поскольку “только для подлости осталось, на пр.: для холопей, для мужиков, для извошников, для трубочистов...” – при том, что “говоря с человеком достойным почтения или паче имеющим благородство, или чин, или в чем нибудь от подлага народа отличность, *ты*, сказать противно граматике” (Сумароков, VI, 294). Характерна в этом отношении также притча Сумарокова “Подьяческая дочь”:

По благородному она всю речь варила,
 Новоманерными словами говорила:
 Казалось что в ней была господска кровь:
 То *фрукты* у нее, что в подлости *морковь*.

(Сумароков, VII, 72–73)⁵⁹

Соответственно, отвечая на “Письмо... от приятеля к приятелю”, Сумароков протестует против того значения, которое Тредиаковский вкладывает в слово *подлый*: “Вольности *Паденье, Желанье*, за *Падение, Желание* и протч. называет он подлым употреблением. А то употребляют все, лутче бы он говорил, что то не правильно, а не в подлом употреблении” (“Ответ на Критику” 1750 г. – Сумароков, X, 99).⁶⁰ Расхождения совершенно очевидны: если для Тредиаковского писать, как говорят, и означает писать “подло”, то для Сумарокова ссылка на общее (разговорное) употребление является аргументом в пользу возможности подобной характеристики. Точно так же, возражая Тредиаковскому, который соотносит в “Письме... от приятеля к приятелю” разговорные местоимения *этот, эта, это* (вместо *сей, сия, сие*) с “площадным употреблением”, и обосновывая возможность употребления этих местоимений в трагедиях, Сумароков говорит в своем “Ответе на Критику”: “они слова не чужестранные и не простонародные” (Сумароков, X, 97), т.е. ссылается на их социальную неотмеченность, на их употребляемость в речи хорошего общества. Отсюда, в частности, если Тредиаковский может квалифицировать произношение, не различающее *e* и *ѣ* и отличающееся тем самым от книжного произношения, как “подлый выговор” (письмо к Г. Ф. Миллеру от 7 августа 1757 г. – Разоренова 1959, 215; см. выше), то Сумароков, напротив, соотносит произношение такого рода с речью “благородных людей” (“Примечание о правописании”, не ранее 1773 г. – Сумароков, X, 42). Таким образом, говоря о “благородном” или “подлом”, “простонародном” употреблении, Сумароков переводит стилистическую полемику в социолингвистический план.⁶¹

Отметим, что совершенно аналогичное различие в употреблении подобных эпитетов как стилистических характеристик (*подлый, простонародный, благородный* и т.п.) прослеживается в дальнейшем у “архаистов” (сторонников Шишкова) и “новаторов” (карамзинистов): если у первых они фигурируют безотносительно к социальному расслоению общества, то у вторых они в принципе выступают именно как социолингвистические оценки (см.: Лотман и Успенский 1975, 244–245). Таким образом, шишковисты следуют тому же употреблению, которого придерживается Тредиаковский, тогда как карамзинисты совпадают в своем употреблении с Сумароковым.⁶² Это вполне закономерно, поскольку языковая программа “архаистов” начала XIX в. обнаруживает вообще разительную общность с программой Тредиаковского во второй период его творческой деятельности, тогда как языковая программа “новаторов”-карамзинистов

явно связана с программой молодого Тредиаковского (см.: Успенский 1976). Как мы уже отмечали, Сумароков выступает, в сущности, как последователь молодого Тредиаковского в отношении к языку; соответственно, он и оказывается связующим звеном между Тредиаковским и карамзинистами.

8. Итак, языковая программа Сумарокова связана с социолингвистическим расслоением общества: вслед за молодым Тредиаковским (который, в свою очередь, следует Вожела – см.: Успенский 1976, 40–41), Сумароков ориентирует литературный язык на разговорную речь элитарного, дворянского общества. Вполне закономерно в этом смысле, что в рассматриваемой эпиграмме установка на церковно-славянский язык полемически противопоставляется “щегольскому” употреблению:

Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже и грубый деревенский.

Упоминание “щегольков” в этом контексте может относиться непосредственно к Сумарокову; не случайно Тредиаковский в этой же эпиграмме характеризует Сумарокова как “вертопраха” – слово *вертопрах* выступает как обычная характеристика щеголя-петиметра в сатирической литературе XVIII в.⁶³

В этой связи заслуживает самого пристального внимания присочиненная Тредиаковским “новая сцена” (сцена XVII) из комедии “Тресотиниус”, которую якобы обнаружил Тредиаковский и которая фигурирует в качестве постскриптума к “Письму. . . от приятеля к приятелю” (см.: Куник 1865, 497–500). В этой сцене появляется новый персонаж, а именно некий “маляр шалун” Архисотолаш (Архисотолаш Филавтонович Кривобаев), в лице которого Тредиаковский выводит Сумарокова.⁶⁴ Слова *маляр* “художник”, *малевать* “изображать” представляют собой полонизмы (*malarz*, *malować*), которые характерны для Тредиаковского и которые, вообще говоря, не имеют у него отрицательного смысла (см.: Кохман 1972, 46–47); в данном случае имеется в виду, видимо, претензия Сумарокова на живописный стиль изображения (Архисотолаш-Сумароков говорит о себе, что он “малюет картины говоруньи” и “намалевал на рынок картин с семь, которые так живы, что все говорят как сойки” – Куник 1865, 500, 498).⁶⁵ Вместе с тем, слуга Кимар называет его не *маляр*, но *мараль* (499), и это явно соответствует той характеристике, которую дает Сумарокову Тредиаковский в своей

эпиграмме: “парнаска грязь, маратель, не творец”. При этом Архисотолаш говорит о себе, что он “публичной маляр” (498) или “всерыношной” (500), – имеется в виду, по-видимому, ориентация Сумарокова на “площадное” употребление, т.е. на разговорную речь (см. выше, § 7 наст. работы); Архисотолаш-Сумароков прямо заявляет в этой сцене: “Я говорю так, как все” (498). Особенно же существенно, что он претендует на знание света (ср.: “ежели в ком нет амбиции, тот или незнающий света, или прямо дурак”, 498), заявляя при этом: “Я знаю щегольское употребление” (498). Не вполне ясный намек на “щегольство” Архисотолаша находим и у слуги Кимара (499).⁶⁶

Ассоциация Сумарокова с щеголем несколько неожиданна, поскольку сам Сумароков неоднократно выступает с обличениями щеголей-петиметров. И тем не менее, в перспективе Тредиаковского Сумароков предстает именно как щеголь – этому способствует аристократическое происхождение Сумарокова, его положение при дворе (в качестве “генеральс-адъютанта” графа А. Г. Разумовского он входит в придворную сферу), его высокомерие (“амбиция”);⁶⁷ языковая полемика приобретает, таким образом, социальный аспект.⁶⁸ Наконец, восприятию такого рода отнюдь не в последнюю очередь способствует и языковая позиция Сумарокова, т.е. установка на разговорное употребление.

Необходимо иметь в виду, что щеголи были принципиальными сторонниками ориентации на устную, разговорную языковую стихию: “щегольское наречие” базируется на просторечии, причем социальный престиж элитарного общества определяет его восприятие и значимость присущей ему разговорной традиции. “Щегольское наречие” и может, собственно, рассматриваться как дворянский социальный диалект в его специфических формах – иначе говоря, речь дворянства постольку, поскольку она не нейтральна, социально маркирована; можно сказать, что это тот вид просторечия, который претендует на культурную значимость (ср. в этой связи: Виноградов 1935, 195–196; Лотман и Успенский 1975, 227–228, 247–251). Само собой разумеется, что с позиции Тредиаковского (в рассматриваемый период), в перспективе книжного языка щегольская речь принципиально не отличается от других видов просторечия. Если согласиться, что выражение *грубый деревенский* в цитированном заявлении Тредиаковского:

... нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже и грубый деревенский

выступает как семантическая калька с лат. *rusticus* и относится к разговорному употреблению (см. выше, § 7 наст. работы), не приходится усматривать здесь социолингвистическое противопоставление щегольской и крестьянской речи. Идея ориентации на крестьянскую речь была абсолютно чужда этому времени и, тем самым, совсем не нуждалась в полемическом опровержении: крестьянская речь может фигурировать только как пример неправильной речи (так, в частности, у Сумарокова, который в комедии ‘Опекун’ 1765 г. заставляет крестьян цокать, а в статье ‘О правописании’ 1768–1771 гг. говорит о “провинциальных” особенностях языка Ломоносова, обусловленных его крестьянским происхождением – Сумароков, V, 45–46; Сумароков, X, 7). Таким образом, союз *нижé* в цитированном пассаже может иметь не противительный, но соединительный смысл – он может означать не столько противопоставленность “щегольского” и “грубого деревенского” языка, сколько их общую природу: и то, и другое относится к просторечию.

Настаивая на необходимости различать книжное и некнижное употребление (первое предполагает обращение к церковнославянской языковой стихии, второе – ориентацию на разговорную речь), Тредиаковский констатирует, что традиционное для России понимание литературного языка как книжного языка, принципиально противопоставленного живой речи, разделяется далеко не всеми. В “Разговоре... об орфографии” (1748 г.), он указывает, что “при дворе некоторые не принимают дwoякого употребления в языке, и ссылаются по большей части на непрямоe, и испорченное от простаков” (Тредиаковский 1748, 314; Тредиаковский, III, 213).⁶⁹ Равным образом и в предисловии к “Тилемахиде” (1766 г.) Тредиаковский пишет: “Когда некоторые из Нашиx (привыкших к Французскому и Немецкому Языкам, не имеющим кроме гражданского употребления, а в нашем Гражданском Сочинении увидевших два, три, речения Славенския, или Славенороссийския) восклицают как будто негодуя, *Это не порусски*: то жалоба их не в том, чтоб те речения были противны свойству Российскаго Языка, но что оныя положены не Площадныя, не Рыночныя, и словом, не Подлыя, да и знающим знаемыя” (Тредиаковский 1766, стр. LX, примеч.; Тредиаковский, II, 1, стр. LXXIV, примеч.). Итак, по свидетельству Тредиаковского, не перестают раздаваться голоса в пользу полной эмансипации русского языка, освобождения его от специфически книжных элементов сближения литературного языка с разговорной речью (как это имеет место в странах Западной Европы). Упомянутые Тредиаковским лица как бы продолжают следовать той программе, сторонником которой был в

свое время и он сам. Соответствующая позиция, как указывает Третьяковский, характерна для светского (придворного) общества, для тех, кто владеет иностранными языками и ориентируется на Запад. Речь идет, по-видимому, о “щеголях”, т.е. носителях “щегольского наречия”; вместе с тем, в этих случаях может иметься в виду и конкретно Сумароков, который, с точки зрения Третьяковского, является именно сторонником ориентации на “площадное”, “рыночное”, “подлое” употребление (см. выше, § 7 наст. работы) – одно другому несколько не противоречит, поскольку Сумароков, как мы знаем, в глазах Третьяковского может ассоциироваться с щеголем. В частности, когда Третьяковский упоминает (в 1748 г.) о “некоторых” “при дворе”, которые характеризуются как сторонники ориентации русского литературного языка на разговорную речь, он, по всей вероятности, говорит не вообще о носителях “щегольского наречия”, но именно о Сумарокове.⁷⁰

Сумароков не оставил сколько-нибудь четкого и последовательного изложения своей языковой концепции. Отдельные замечания, разбросанные по разным его произведениям, не дают целостной картины: нередко они противоречивы и, как правило, посвящены частным вопросам. Тем более важно понять, как воспринималась сумароковская языковая программа современной ему аудитории – взглянуть на Сумарокова глазами его современников. В настоящей работе мы увидели Сумарокова глазами Третьяковского.

В этой перспективе Сумароков предстает как последователь молодого Третьяковского – как верный приверженец той программы литературного языка, которая была сформулирована Третьяковским (вместе с Адогуровым) в 1730-е гг. и от которой Третьяковский отказывается во второй половине 1740-х гг. Полемизируя с Сумароковым, Третьяковский как бы полемизирует с самим собой.

Языковая программа Сумарокова, как она охарактеризована выше, обнаруживает несомненную общность как с программой молодого Третьяковского, так и с последующей программой Карамзина. Сумароков оказывается, таким образом, связующим звеном между Третьяковским и Карамзиным: программное требование писать, как говорят, провозглашенное Третьяковским еще в 1730 г. (в предисловии к “Езде в остров Любви”), было подхвачено Сумароковым и передано по эстафете Карамзину. Связь Сумарокова с Карамзиным могла осуществляться через учеников и последователей Сумарокова и прежде всего через Новикова, который испытал определенное влияние Сумарокова и, в свою очередь, оказал несомненное влияние на Карамзина.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

*Эпиграмма Тредиаковского по списку Г. Ф. Миллера*⁷¹

Не знаю кто пѣвцовъ в стихъ вкинулъ сумозбро^лно^и. [л. 9 об.]
 Но видно что дуракъ и вертопра^х негодно^и.
 Онъ красотою зоветь что есть языку вредъ.
 Или ямщицей вздоръ или мужицкі бредъ.
 Пусть вникнеть онъ въ языкъ славенскі нашъ степенни. [л. 10]
 Престанеть злобно врать, и глубство^м бы^т надменни.
 Увидить что та^м злои кончится нѣжно слыи.
 И что чермнои мигунъ мигате^л та^м чермны^и.
 Увидить что та^м ко^л не за когда но то^лко
 Кладется какъ и долгъ в количестве за ско^лко.
 Не голосъ чтется та^м, но сладостнейши гласъ,
 Читають око всѣ, хотъ говорятъ все жъ глазъ
 Не лобъ тамъ но чело, не щоки но ланиты,
 Не губы и не ротъ, уста та^м багряниты.
 Не нынъ та^м и не ва^л, но нынѣ и во^лна,
 Священна книга вся си^х нежностей полна.
 Но где ему то знать, онъ толко что зеваетъ,
 Святы^х онъ книгъ о^тнюдь, какъ видно, не читаетъ
 За образецъ ему в писме пирожной рядъ
 На площади беретъ прегнусно^и свои наря^д
 Не зная что у на^с писа^т в свѣтъ есть иное
 А просто говорить по дружески другое
 Славенскі нашъ языкъ есть правило неложно,
 Какъ книги на^м писа^т, и чище ко^л возможно
 В Гражданско^м и доднесъ однакъ не в площадно^м
 Славенско^м по всѣму составу в на^с одно^м.
 Кто ближе подоиде^т к сему в слова^х избра^нны^х
 Тотъ и любея все^м писецъ есть и не в стра^нныхъ
 У немце^в то не такъ ни у французо^в тожь,
 Имъ нравень то^т языкъ кой съ общи^м самы^м схожь.
 Но нашей чистотѣ вся мѣра есть славенскіи
 Не щого^лко^в ниже и грубы^и деревенски.
 Ты жъ ядовиты змій, или какъ любишь змѣи.
 Когда меня язвить престанешь ты злодѣи.
 Преста^н прошу преста^н, к тебѣ я не касаюсь
 Слонравіе^м твои^м какъ дѣмо^нски^м гнушаюсь
 Тебе ль парнаска гря^з, марате^л не творецъ,
 Учить людеи писа^т, ты истинно глупецъ.
 Повѣрь мнѣ крокоди^л, повѣрь кленусъ я бого^м

[л. 10 об.]

Что знаніе твое все в роде есть убого^М
 Не штука сти^Х слагать да и того ты пусть.
 Бесплодень ты во всемь хо^Т и шумишь какъ кусть
 Что жь ядо^М ты блюешь, и все^М в меня стреляешь
 То то^Лко злы^М себя те^М свѣту о^бявляешь.
 Уими^С пора уже пора давно злыдарь,
 Смерть помни и что есть богъ. правда мо^И суда^Р,
 Хоть тресни ты, в труда^Х я токмо пребываю,
 В труда^Х не в пустоте твое жь зло презираю.
 Но тщетно правотои к добру тебя склонить.
 Мне рыжу тва^Р никакъ в добро не пременить.
 В небѣсной красоте не твоего лишь зыка,
 Нѣлепостей где тма россискаго языка,
 Когда по твоему сова и ско^Т ужь я
 То са^М ты нетопырь и подлинно сви^Ня

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вопрос о правописании прилагательных в свете оппозиции русского и церковнославянского

В приказном языке прилагательные в именительном падеже множественного числа имели обычно окончания *-е* и *-я* без различия родов (ср.: Пеннингтон 1980, 251, 253); такое правописание принято было и в русской гражданской орфографии до 1733 г. См. об этом – со ссылкой на приказную традицию – у Третьяковского в статье о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский 1865, 108) и в “Разговоре... об орфографии” 1748 г. (Третьяковский 1748, 97, 292–293, 331–332, 339; Третьяковский, III, 62, 198, 225, 230), а также у Ломоносова в примечаниях на предложения Третьяковского 1746 г. (Сухомлинов, IV, 2; Ломоносов, VII, 84); несколько иначе пишет об этом Третьяковский в первой статье о прилагательных 1746 г. (Вомперский 1968, 88; Сухомлинов, IV, примечания, 19), но под влиянием возражений Ломоносова он изменил свою формулировку. Такое правописание определено и в краткой грамматике Адодурова 1731 г., т.е. окончания *-е* и *-я* употребляются как варианты для всех трех родов (Адодуров 1731, 29–30). Ломоносов в своей грамматике 1755 г. (в §§ 116 и 161) также допускает возможность подобной орфографии (Сухомлинов, IV, 53, 78–80; Ломоносов, VII, 430–431, 452–454); между тем, Сумароков в статьях “К типографским наборщикам” (1759 г.), “О правописании” (1768–1771 гг.) и “Примечание о правописании” (не ранее 1773 г.) даже настаивает на правописании

такого рода, признавая единственно возможным только окончание *-я* для всех трех родов (Сумароков, VI, 309; Сумароков, X, 29–30; Сумароков, X, 42); впрочем, в статье “О стопосложении” (не ранее 1771 г.) он дает вариантную форму окончания *-и* или *-я*, общего для всех родов (Сумароков, X, 75).

Таким образом, правописание прилагательных, вводимое правилами 1733 г., предписывающими окончание *-е* в мужском роде, окончание *-я* в женском и среднем, на формальном уровне (в плане выражения) совпадает с нормами приказного языка; однако в плане содержания вводится противопоставление по роду – противопоставляется мужской и немужской род, и употребление окончания *-е* и *-я* распределяется в соответствии с этим противопоставлением.

Правописание прилагательных, предлагаемое Тредиаковским – в статьях 1746 г. (см.: Вомперский 1968; Сухомлинов, IV, примечания, 3–26) и 1755 г. (см.: Пекарский 1865), специально посвященных данному вопросу, а также в “Разговоре... об орфографии” 1748 г. (Тредиаковский 1748, 95–97, 292–312, 331–340; Тредиаковский, III, 61–62, 197–212, 224–225, 230), – вообще говоря, отличается от церковнославянского: так, если в церковнославянском различаются формы *добрѣи* (мужской род), *добрѣя* (женский род), *добрая* (средний род), то Тредиаковский предлагает писать *добрѣи* (мужской род), *добрѣе* (женский род), *добрѣя* (средний род).⁷² Тем не менее, по сравнению с правилами 1733 г. это правописание закономерно воспринимается как славянизированное.⁷³ В самом деле, в плане содержания, т.е. на категориальном уровне, правописание Тредиаковского однозначно коррелирует с церковнославянским – в обоих случаях различаются все три рода. Между тем, в плане выражения, т.е. на чисто формальном уровне, рассматривающем самый инвентарь морфологических показателей, новым в правописании Тредиаковского является окончание *-и*, которое не соответствует репертуару русских окончаний (*-е* и *-я*) и в то же время непосредственно соответствует церковнославянскому окончанию с тем же значением: если окончание *-е*, отсутствующее в церковнославянском, является специфически русским,⁷⁴ то окончание *-и*, напротив, является специфически церковнославянским⁷⁵ (между тем, окончание *-я* нейтрально в этом отношении, соответствуя и русскому, и церковнославянскому набору показателей). Естественно, что именно окончание *-и* оказывается наиболее значимым моментом в правилах Тредиаковского, которое определяет восприятие его правописания. На этом окончании и сосредоточивают свою критику противники Тредиаковского (в частности, Ломоносов – в “Примечаниях на предложение [Тредиаковского] о множественном окончании прилагательных имен”. в § 119 “Россий-

ской грамматики” и, наконец, в стихотворении “Искусные певцы...”).

Таким образом, вопрос о правописании прилагательных получает принципиальное значение, выступая как признак языковой ориентации (в рамках оппозиции: церковнославянское – русское). Во всяком случае именно так воспринимал эту проблему Тредиаковский. Чрезвычайно характерно в этом смысле доношение Тредиаковского в Академию наук от 28 сентября 1758 г., где Тредиаковский объясняет, почему он перестал ходить в Академию: “ненавидимый в лице, – говорит о себе Тредиаковский, – презираемый в словах, уничтожаемый в делах, оуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, еще и во нравах (что сего безсовестнее?) оглашаемый, всеж то или по злобе, или по ухищрению, или по чаянию от того пользы, или наконец его собственной потребности, чтоб употребляющаго меня праведно и с твердым основанием (*и*), в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых, всемерно низвергнуть в пропасть безславия, всеконечно уже изнемог я в силах к бодрствованию: чего ради и настала мне нужда уединиться” (Пекарский 1866, 179; Пекарский, II, 208–209). Итак, Тредиаковский считает свое правописание одной из основных своих заслуг *и*, вместе с тем, видит в нем одну из главных причин тех преследований, которым ему приходится подвергаться.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ “Разныя стиходействии” – рукопись 1770-х гг. библиотеки Казанского университета № 4542, IV/1 (старый № 19953).

² Центральный Государственный Архив Древних Актов, ф. 199 (Портфели Миллера), № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об.–10 об. Миллеровский список является и более ранним (интересующее нас стихотворение написано на бумаге с водяными знаками 1761 г. – Клепиков, № 745), и гораздо более исправным; таким образом, соединение двух списков в издании “Поэты XVIII века” (к тому же с точно не оговоренными конъектурами) текстологически никак не оправдано. В дальнейшем мы цитируем данную эпиграмму именно по списку Миллера; при этом в цитатах мы несколько модернизируем орфографию и расставляем знаки препинания в соответствии с современными нормами. В приложении к настоящей работе миллеровский список воспроизводится полностью – с точным соблюдением правописания и пунктуации (см. Приложение I).

³ Так, еще в “Риторике” 1748 г. Ломоносов писал (в § 165): “Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия речений, не для чистоты)” (Сухомлинов, III, 219–220; Ломоносов, VII, 237). Примечательна эта оговорка: Ломоносов еще далек от того, чтобы связывать чтение церковных книг с чистотой русского слога, как он это делает впоследствии в рассуждении “О пользе книг церковных...”; правда, в рукописном тексте “Риторике” данная оговорка отсутствует, но тем более знаменательно, что она появляется в печатном издании 1748 г. (см.: Сухомлинов, III, примечания, 209). Между тем, Тредиаковский уже в первой половине 1750-х гг. говорит о пользе чтения церковных книг для овладения правильным русским слогом (“Письмо... от приятеля к приятелю” 1750 г. – Куник 1865, 496) и рассматривает церковнославянский язык как “меру чистоты” русской речи.

⁴ Как будет показано ниже, под “избранными словами” имеются в виду славянизмы (см. примеч. 44).

⁵ Церковнославянско-русские соответствия, которые фигурируют в этом пассаже, отчасти повторяют тот набор соответствий, которые даются Тредиаковским в “Мнении... о диссертации господина профессора Миллера” 1750 г.: Тредиаковский писал здесь, что “язык наш стал славенороссийским [из “славенского”, т.е. церковнославянского], для того что уже он начал принимать слова варяжския, то есть Российския, каковы, может быть, *лоб* вместо *челá*, *вор* вместо *татя*, *глаз* вместо *ока*, *рот* вместо *устá*, *губы* вместо *устне*, *изба* вместо *клеть*, *крик* вместо *воплъ*, и прочия премногия...” (Пекарский, II, 246).

⁶ В статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский отмечает, что окончание прилагательных мужского рода в именительном падеже множественного числа на *-е* введено в Академической типографии в 1733 г. каким-то лицом, которого Тредиаковский не называет по имени (Пекарский 1865, 103, 107, 109). Адоуров служил в это время при Академии наук и специально занимался в 1730-е гг. вопросами русской гражданской орфографии (см.: Успенский 1975, 28 сл.).

⁷ Вопрос о правописании прилагательных в свете позиции русского и церковнославянского специально рассматривается нами в Приложении II.

⁸ Критерию благозвучия Ломоносов придавал вообще большое значение. В наброске плана к статье “О нынешнем состоянии словесных наук в России” (1756–1757 гг.?), посвященной проблемам “чистоты российского штиля”, Ломоносов вторым пунктом помечает: “[Против] какофонии” (Берков 1936, 158; Ломоносов, VII, 581), видя таким образом в какофонии одно из основных препятствий к чистоте стиля. Об этом же говорится и в ломоносовских риториках 1744 г. (§ 113) и 1748 г. (§ 170), где Ломоносов специально предупреждает, между прочим, против соединения “гласных литер одного или подобнаго звона” (Сухомлинов, III, 61–62, 222; Ломоносов, VII, 64–65, 240).

Необходимо иметь в виду, вместе с тем, что Ломоносов склонен был приписывать звукам определенные семантические или эмоциональные характеристики. Так, в риторике 1748 г. он говорит (в § 172): “В Российском языке, как кажется, частое повторение писмени *a* способствует может к изображению великолепия, великаго пространства, глубины и вышины, также и внезапнаго страха; учащение писмен *e*, *и*, *ѣ*, *ю*, к изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей. Чрез *я* показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность; чрез *о*, *у*, *ы*, страшныя и сильныя вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль” (Сухомлинов, III, 223, ср. примечания, 451; Ломоносов, VII, 241). Совершенно так же Ломоносов полагает, что гому или иному стихотворному размеру присуща специфическая эмоциональная окраска, определяющая обязательность сочетания его с определенной тематикой: так, ямбу приписывается благородство, и поэтому он должен применяться в героическом стихе, тогда как хорей связан с любовными чувствами и потому уместен в элегиях (Тредиаковский 1744, 3–5; Куник 1865, 421–422; Тредиаковский 1963, 421–422; ср.: Гуковский 1928, 128; Гуковский 1962, 95–98; Томашевский 1959, 333–334). Как благозвучие, так и эмоциональная окраска выступают при этом у Ломоносова как онтологически заданные категории, изначально присущие в том или ином сочетании.

⁹ Соответственно, Сумароков в статье “К несмысленным рифмоторцам” (1759 г.), полемизируя с Ломоносовым, выводит его противником буквы *и*: “Не знаю кому, или лутче не хочу сказать кому, не показалася Литера *I*. и того же произношения Литера *И*; и для того оставил он новое и странное правило очень часто применять ее в литеру *E*. А то еще и страннее, что многия правилу сему, ни на естестве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении основанному следуют, то только в доказательство приемля: *Тако сказал Пифагор*; а Пифагор Московскаго наречия не знает; ибо он родился в деревне такова уезда, где говорят не только крестьяня, но и дворяня очень дурно; а мы Москвитяня должны ли сему правилу повиноваться, хотя бы оно золотыми Литерами напечатано было? *Достоин* называется *Достоен*, *Бывший* *Бывшей* и пр. Все котория в Русском языке сильны, в опровержении сего со мною согласны; не отрава ли такая правила нашему языку?” (Сумароков, IX, 278–279). Почти в тех же выражениях Сумароков говорит о Ломоносове в статье “О правописании” (1768–1771 гг. – Сумароков, X, 6–7, ср. еще 16, 24, 28, 37), а также в примыкающей заметке “Примечание о правописании” (не ранее 1773 г. – там же, 38). В этой последней заметке Сумароков защищает форму *облаки*, отвергаемую

Ломоносовым: “Надобно знати, когда написать *Облака*, и когда *Облаки...*” (там же, 45). Здесь же Сумароков выступает и в защиту инфинитивов на *-ти*, что также, видимо, в какой-то мере объясняется полемикой с ломоносовской грамматикой: “Глаголы *любити*, *слышати* и проч. в неопределенном без вольности *ТИ*, а по вольности, приятой и утвержденной ко красоте языка *любить* могут великое производить изобилие и легкость, *Любить хвалу* хуже, нежели *любити хва.иу*” (там же, 43). Не обязательно, вообще говоря, видеть в данном случае ориентацию на церковнославянский, поскольку в XVIII в. формы на *-ти* не были чужды разговорному языку. Барсов в своей грамматике 1783–1788 гг. рассматривает подобные формы как черту “городского выговора” (впрочем, не московского!): “В новейшая времена покусились некоторые и кроме стихов и проч. употреблять *ти* вместо *ть*, да еще и в комедиях и проч. Но в сем случае оно есть не иное что как городской а не московской выговор; при том же и употребляют оно большая часть не постоянно и без всякаго, как видно, и для самих себя правила” (Барсов 1981, 592); при этом “городской выговор” Барсов противопоставляет вообще литературному произношению (там же, 57). Скорее всего, Барсов говорит в данном случае о Сумарокове.

¹⁰ Этому не противоречит то обстоятельство, что форма *истинныи* в данном случае предстает у Ломоносова – вопреки Тредиаковскому – как форма среднего, а не мужского рода. Это объясняется тем, что одновременно (в том же параграфе грамматики) Ломоносов протестует против неправильного, с его точки зрения, образования именительного падежа множественного числа существительных среднего рода на *-и*, а не на *-я*, типа “*учреждении*, вместо *учреждения*”. Таким образом, выражение *истинныи извѣстии* оказывается сугубо и утрированно неправильным: здесь демонстративно соединяются две неправильные по своему образованию формы – неправильная форма прилагательного и неправильная форма существительного. Что касается Тредиаковского, то форма *истинныи*, с его точки зрения, являясь формой мужского рода, тогда как форму *извѣстии* он также признает неправильной (см. об этом ниже, примеч. 51).

¹¹ Последние строки этой эпиграммы перекликаются с притчей Сумарокова “Сова и Рифмач”, где Тредиаковский выведен в образе совы (Сумароков, VII, 49; Сумароков 1957, 203–204). Скорее всего, образ совы у Сумарокова непосредственно восходит к цитированным ломоносовским стихам; если это так, то сумароковская притча была написана не ранее конца 1753 г. (когда была создана эпиграмма Ломоносова). П. Н. Берков датирует эту притчу 1752 г., связывая ее с выходом в свет “Сочинений и переводов” Тредиаковского (см.: Сумароков 1957, 204, 540).

Замечание Ломоносова о “нежности” московского аканья (ср. отчасти сходное замечание в § 115 ломоносовской грамматики – Сухомлинов, IV, 52–53; Ломоносов, VII, 430) фактически повторяет высказывание Тредиаковского в “Разговоре . . . об ортографии” 1748 г., по словам которого “нежнейший московский выговор необходимо произносит. . . (о) как (а)” (Тредиаковский 1748, 305; Тредиаковский, III, 207); ср.: Успенский 1975, 67 примеч. и 72. Эпитет “нежный” – обычная характеристика русского языка в его противопоставленности церковнославянскому (см.: Успенский 1975, 67, примеч.; Лотман и Успенский 1975, 224 сл.). Если Тредиаковский в рассматриваемой эпиграмме называет “нежными” славянизмы (ср.: “Увидит, что там *злой* кончится нежно *злый*”; “Священна книга вся сих нежностей полна”), то это объясняется именно тем, что данная эпиграмма соотносится со стихами Ломоносова и полемически им противопоставлена: Тредиаковский как бы заимствует эпитет “нежный” из ломоносовского стихотворения, но прилагает его не к русской, а к церковнославянской языковой стихии. Впрочем, уже в “Разговоре . . . об ортографии” 1748 г. Тредиаковский замечает, что способность различать *е* и *ь* есть свойство “нежного слуха” (Тредиаковский 1748, 194; Тредиаковский, III, 128) – при том, что описываемый им принцип различения в чтении этих букв соответствует церковному произношению (см.: Успенский 1968, 29 сл., 54 сл.; Успенский 1971, 13–15); соответственно, и в “Письме . . . от приятеля к приятелю” 1750 г. такие формы, как *подобием*, *твоей державы*, *любезной дочери*, вместо *подобием*, *твоя державы*, *любезныя дочери* характеризуются Тредиаковским как “досадные нежному слуху” (Куник 1865, 450, 456, 462).

¹² Представляется очевидным недоразумением утверждение Моисеевой (1973, 60), что эти стихи Тредиаковского представляют собой ответ не на цитированную эпиграмму Ломоносова, но на “Сатиру на Елагина”, приписываемую Поповскому; в свою очередь, эпиграмма Ломоносова (“Искусные певцы...”) совершенно безосновательно объявляется здесь ответом на рассматриваемое стихотворение Тредиаковского (“Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный...”)! Статья Моисеевой обнаруживает явную некомпетентность ее автора.

¹³ В этом пассаже может быть усмотрена полемика с сумароковской эпистолой о русском языке (см. ниже, примеч. 38). Выражение *красные сочинения* у Тредиаковского – конечно, калька с фр. *belles-lettres* (это выражение Тредиаковский употребляет и в “Письме... от приятеля к приятелю” – Куник 1865, 474). В других случаях Тредиаковский может передавать *belles-lettres* как *красное письмо* (в том же трактате о прилагательных – Пекарский 1865, 107) или *красная Словесность* (в предисловии к “Тилемахиде” – Тредиаковский 1766, I, стр. III, примеч.; Тредиаковский, II, 1, стр. LXVI, примеч.).

¹⁴ В предисловии к этому трактату Тредиаковский сообщает, что он был сочинен в связи с публикацией какой-то его статьи в журнале “Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие”, издаваемом при Академии наук: по его словам, при обсуждении этой статьи в Академии орфография ее вызвала дискуссию, т.е. возникло сомнение в целесообразности отступления от правил, принятых в академических изданиях, – что и послужило поводом для специального рассуждения, призванного обосновать правомерность орфографии такого рода (Пекарский 1865, 102; Сухомлинов, IV, примечания, 25). “Ежемесячные сочинения” начали выходить с января 1755 г.; статьи Тредиаковского опубликованы в мартовской и июньской книжках за этот год, причем в обеих статьях сохраняется правописание автора (Неустроев 1874, 50–51; Пекарский, II, 177; в февральской книжке было опубликовано еще стихотворение Тредиаковского, но оно непоказательно в отношении правописания). Вместе с тем, первая из этих статей (“Об истине сражения у Горациев с Куриациями...”) была прочитана Тредиаковским на заседании академической Конференции 15 февраля 1755 г. (Протоколы АН, II, 322), т.е. уже после рассмотрения статьи о прилагательных (вторая статья – “О древнем, среднем и новом стихотворении российском” – была прочитана им 5 апреля 1755 г., см. там же, 326). Таким образом, заявление Тредиаковского не соответствует действительности: трактат о правописании прилагательных был написан независимо от других статей Тредиаковского, однако опубликование этих статей рассматривалось им как повод для публикации данного трактата. (Следует к тому же иметь в виду, что в “Предупреждении” к “Ежемесячным сочинениям” специально оговаривалось намерение издателей допускать “разность в слоге”, что, очевидно, предусматривало возможность и разнообразия в правописании, – “Ежемесячные сочинения”, 1755, январь, стр. 10–11.)

Рассуждение Тредиаковского о правописании прилагательных предназначалось для печати и было даже начато набором; оно должно было появиться в августовской книжке “Ежемесячных сочинений” за 1755 г., однако было отвергнуто редактором журнала, профессором Миллером. 15 ноября 1755 г. Тредиаковский подает в Академию наук жалобу на Миллера, обвиняя редактора академического журнала в том, что тот отказывается его печатать. Здесь, между прочим, говорится: “...сочинения, которые уже удостоены вами печати и давно изготовлены для занятия места в наших Эфемеридах, он, профессор Мюллер, презрительно пренебрегает, так что по učinенной автором корректуре первого, как говорится, набранного с письма и напечатанного листа, выбрасывает оныя яко недостойныя: ибо сочиненье мое о российском окончании в множественном числе имен прилагательных, здесь чтенное и удостоенное, также мною подправленное на первом напечатанном листе, которому надлежало иметь место в месяце августе, и до ныне не является, а лежит презренно и брошено профессором Мюллером” (Пекарский, II, 195). И позднее в своем доношении в Академию наук от 28 сентября 1758 г. Тредиаковский вспоминает о “Разсуждении... об окончании наших прилагательных множественных мужеских имен, которое не токмо апробовано, но уже начато было и печатно производиться [в “Ежемесячных сочинениях”]; однако брошено и уничтожено, да и где оно ныне, не знаю” (Пекарский 1866, 178; Пекарский, II, 183).

¹⁵ Невозможно согласиться с мнением Пекарского (II, 178), Сухомлинова (II, примечания, 136–137), Модзалевского (1937, 83) и других исследователей, которые видят в сатире Ломоносова (“Искусные певцы...”) отклик на орфографию статей Тредиаковского, помещенных в “Ежемесячных сочинениях”; тогда приходится считать, что она написана не ранее 1755 г., в результате чего отодвигается и дата написания ответной эпиграммы Тредиаковского, так же как и его трактата о правописании прилагательных. Аргументация Г. П. Блока, датирующего стихи Ломоносова ноябрем 1753 г. (см.: Ломоносов, VIII, 1016, 1024), представляется вполне убедительной.

¹⁶ Ср., например, в “Разговоре... об орфографии” 1748 г.: “Оно [употребление] так есть благорассудное, что ежели ему и случится нечто переменить в языке, или новое ввести, не переменяет и не вводит просто и устремительно; но прежде справливается с своими уставами, ...не будет ли та перемена, или какое новое введение, противно природе того языка, чье есть Употребление” (Тредиаковский 1748, 315–316; Тредиаковский, III, 214); здесь же Тредиаковский говорит “о первоначальной древности нашего языка, в котором хотя уже и многие... находятся перемены; однако всегда в нем одно и тож пребывает свойство” (Тредиаковский 1748, 292; Тредиаковский, III, 197). В трактате о правописании прилагательных 1755 г. читаем: “Нет всеобщаго употребления, как-бы-оно-по-различию-времен-ни-различалось [т.е. к какой бы эпохе в эволюции языка оно ни относилось], которое-всеконечно противно было всеобщему свойству того языка, в коем-оно Употреблением: ибо, в противном случае, не былоб уже оно употреблением живущаго языка, но всесовершенным его истреблением” (Пекарский 1865, 107). В первой редакции статьи о прилагательных (1746 г.) эта мысль формулируется так: “Коль ни прменяемое само в себе есть употребление, по прошествии нескольких лет, однако никогда не бывает в нем такая перемены, которая бы всеконечно противна была природе того языка, котораго она ввелась в употребление. Инако, не была бы она употреблением переменявшимся в том языке, но совершенным онаго истреблением” (Вомперский 1968, 88; Сухомлинов, IV, примечания, 17). При таком подходе задача кодификатора – вывести те или иные закономерности, определяющие природу данного языка, с точки зрения которых и следует оценивать все нововведения в языке.

¹⁷ О форме *иль* как о поэтической вольности (licence) Тредиаковский упоминает уже в “Новом и кратком способе к сложению российских стихов” 1735 г. (Тредиаковский 1735, 17; Куник 1865, 31; Тредиаковский 1963, 378). Замечательно, вместе с тем, что если в 1755 г. для него является “вольностью” “*стать*, вместо *стати*” (Пекарский 1865, 106), то в 1735 г. его позиция прямо противоположна, и поэтические “вольностями” объявляются “*пишеш*, вместо *пишешь*, и *писати*, вместо *писать*” (Тредиаковский 1735, 16; Куник 1865, 31; Тредиаковский 1963, 377). Это наглядно демонстрирует ту эволюцию взглядов Тредиаковского на литературный язык, о которой мы говорили выше (см. § 1 наст. работы): в 1730-е гг. Тредиаковский в принципе ориентируется на разговорное употребление и, соответственно, исходит из русских форм, трактуя славянизмы как возможное отклонение от языковой нормы (допустимое в поэтическом тексте); напротив, в 1750-е гг. он в принципе ориентируется на церковнославянский язык и, соответственно, в качестве отклонения от нормы может расценивать русизмы.

Не случайно во второй редакции трактата о стихотворстве (1752 г.) Тредиаковский исключает из раздела о поэтических “вольностях” все конкретные примеры, ограничиваясь лишь общими фразами (см.: Тредиаковский 1752, I, 141–142; Тредиаковский, I, 165–166).

¹⁸ Впрочем, в одном случае Тредиаковский, кажется, попутно задевает и Ломоносова (см. ниже, примеч. 50).

¹⁹ Жалобы на плохое зрение – частый мотив в письмах Сумарокова, см., например: Письма русских писателей XVIII века, 115, 121, 123, 124.

²⁰ Как отмечает Г. А. Гуковский (1962, 73), обычаи того времени легче допускали “самые резкие нападки и брань по адресу литературных неприятелей, чем открытое указание их имен”. Тредиаковский в “Новом и кратком способе к сложению российских стихов” (1735 г.) учил: “В Сатирических Эпистолах так должно человека хулить, чтоб только худяя его дела порочить, и то не без закрышек и не без отверниц, укрывая, как можно, имя, и все то, по чему можно догадаться, что то

конечно и точно о сем, а не о другом человеке пишется” (Тредиаковский 1735, 35; Куник 1865, 42); слово *отверница* означает здесь “условный, тайный язык” (это слово в данном значении зафиксировано в XVII в. в записях Исаака Массы и Ричарда Джемса, см.: Масса 1937, 77 и 194, примеч. 98; Ларин 1959, 156; к его этимологии см.: Архипов 1982, 14, а также Архипов 1980, 82). Ср., между прочим, характерный протест Сумарокова против нарушения данного правила: в письме Екатерине II от 4 марта 1770 г. Сумароков пишет об А. П. Шувалове: “он и явственно меня, отходя от правил критики, по Парнасу ругал; а я еще молчу, хотя и не должен” (Письма русских писателей XVIII века, 138). Отметим еще в этой связи доношение Тредиаковского в канцелярию Академии наук от 12 октября 1748 г., где речь идет о сумароковской “Эпистоле о русском языке”: “В ней толь великое чтется язвительство, что не пороки пишушчих больше пятнаются, сколько сами писатели, так что и звательный падеж одного употреблен, и только что не собственное имя, по примеру, так называемья древняя Аристофанова комедии, которая впрочем в Афинах тогда накрепко запрещена была начальствующими, как мы видим из истории...” (Материалы АН, IX, 473, № 579; Пекарский, II, 131); Тредиаковский имеет в виду, по-видимому, “Облака” Аристофана (ср. упоминание этой комедии в аналогичном контексте у Буало в “L’Art Poétique”, песнь III-я).

²¹ Вероятно, к этой эпиграмме восходят стихи о Сумарокове, которые цитирует Берков (1962, 368), не называя автора и не ссылаясь на источник: “Который рыж, занка и мигун”. Берков считает – на основании этих строк, – что Сумароков был болен тиком, однако привычка мигать, скорее всего, объясняется болезнью глаз.

²² Отвечая на этот выпад, Сумароков писал в своем “Ответе на Критику”: “О каком он говорит биении сердца, того я не понимаю...” (Сумароков, X, 93), – признавая, тем самым, что прочие намеки Тредиаковского ему понятны.

²³ Тредиаковский, заручившись поддержкой Синода, пытался напечатать “Феоптию” в московской Синодальной типографии, однако эта попытка не увенчалась успехом (см.: Пекарский, II, 204–205; Тредиаковский 1963, 507–509; О Феоптии..., 536–552). Как предполагает А. Б. Шишкин (1983), нежелание московской Синодальной типографии печатать “Феоптию” (отразившееся и в цитированном доношении московской Синодальной конторы) обусловлено тем обстоятельством, что во главе этой типографии стоял в это время М. М. Херасков: в литературной борьбе Сумарокова и Тредиаковского Херасков, конечно, был, на стороне Сумарокова – что, видимо, и решило судьбу “Феоптии”.

²⁴ Ср., между тем, описание Ломоносова в сумароковской притче:

Ворчал,
Мичал,
Рычал,
Кричал,
На всех сердился...

(Сумароков, VII, 69; Сумароков 1957, 208)

²⁵ Выражение “горазд лгать, да не мигать” в цитированных стихах может относиться именно к Тредиаковскому, который объединяется у Ломоносова с Сумароковым по признаку лганья, но противопоставляется по признаку миганья (лжет, как Сумароков, но не мигает). В той же ломоносовской эпиграмме 1759 г. (“Злобное примирение...”), между прочим, читаем:

Аколаст [= Сумароков] написал: Сотин [= Тредиаковский] лишь врать способен,
А ныне доказал, что сам ему подобен.

При этом имеется в виду фраза из “Эпистолы о стихотворстве” Сумарокова 1748 г., где Сумароков писал, что Тредиаковский “лишь только врать способен” (Сумароков, I, 347; Сумароков 1957, 125). Если считать, что глагол *лгать* в стихотворении Ломоносова “О сомнительном произношении...” заменяет собой близкий по значению глагол *врать* в цитированной фразе Сумарокова, то можно усмотреть здесь совершенно определенное указание на то, что выражение “горазд лгать, да не мигать” относится именно к Тредиаковскому. Точно так же и выражение *ногти огрызать*, кажется,

намекает опять-таки на Тредиаковского, ср. “Сатиру на самохвала” И. С. Баркова (1752 г.?), направленную, как предполагают, против Тредиаковского:

Бегает тебя всяк: думает, что еретик,
 Что необычайны шутки делать ты обык.
 Руки на лоб иногда невзначай закинешь,
 Иногда закусишь перст, да вдруг и вынешь...

(Поэты XVIII века, II, 371)

Между тем, сам Тредиаковский, обсуждая вопрос о рифмах в предисловии к “Тилемахиде” (1766 г.), говорит о себе: “могу... без вертопрашного тщеславия сказать, что приобрел я в прискании себе их, не грызя ногтей и без поражения ладонию челá, некоторый нáвык...” (Тредиаковский 1766, стр. LV; Тредиаковский, II, 1, стр. LXVIII). Не исключено, что Тредиаковский реагирует здесь именно на “Сатиру на самохвала”.

²⁶ Ср. тот же мотив в письме Сумарокова к Г. В. Козицкому от 24 июля 1769 г.: “А я едва вижу, так мои глаза испорчены, и думаю, что и я скоро буду Омиром в рассуждении глаз, как некий Вас. Петров в рассуждении высокого склада к чести нашего века” (Письма русских писателей XVIII века, 123). Отметим, что Сумароков, как правило, употреблял форму *Гомер*, а не *Омир*: в связи с упоминанием высокого слога форма *Омир* звучит пародийно-иронически. Сопоставление Сумарокова с Гомером по признаку плохого зрения было, по-видимому, избитой остротой.

²⁷ Прозвище *Аколаст* в цитированных эпиграммах восходит, по-видимому, к стихотворению Ломоносова “Злобное примирение...” (1759 г.); таким образом, эти эпиграммы написаны не ранее 1759 г.

²⁸ В первых версиях комедии Мольера имя героя звучало ближе к его прототипу: Tricotin, и только впоследствии изменилось оно в Trissotin; в последнем случае обыгрывается корень sot- “глупый”, т.е. Trissotin как бы равносильно Trois fois sot.

²⁹ Ломоносов пользуется подобной кличкой и позднее: так, в “Злобном примирении господина Сумарокова с господином Тредиаковским” (1759 г.) он называет Тредиаковского “Сотином”:

С Сотином – что за вздор? – Аколаст примирился!

(Сухомлинов, II, 158; Ломоносов, VIII, 659)

Имя *Сотин* – конечно, результат усечения от *Трисотин*.

Тредиаковский именуется “Тресотином” и в приписываемой Ломоносову “Оде Тресотину”, написанной в связи с ломоносовским “Гимном бороде” (1757 г.), см.: Сухомлинов, II, примечания, 179–182; Ломоносов, VIII, 826–829. Ломоносовский “Гимн бороде” спровоцировал в том же 1757-м г. направленные против Ломоносова письма, написанные будто бы Христофором Зубницким. Хотя, как доказал Перетц (1911, 85–86), письма эти не были написаны Тредиаковским, Ломоносов, как, по-видимому, и другие, приписали их Тредиаковскому (см. ломоносовскую эпиграмму “Зубницкому” 1757 г., явно обращенную к Тредиаковскому – Сухомлинов, II, 142; Ломоносов, VIII, 630). Следствием этого и явилась “Ода Тресотину”.

³⁰ В последних строках может быть усмотрен намек на “Разговор... об орфографии” Тредиаковского (1748 г.), где формулируется требование исключить из гражданского алфавита букву “земля” (з) и последовательно писать вместо нее “зело” (s) (Тредиаковский 1748, 54–55, 136–138, 361 примеч.; Тредиаковский, III, 34, 87–89, 248 примеч.); сам Тредиаковский придерживался этой орфографии, и при печатании “Разговора... об орфографии” специально для этой книги была изготовлена прописная буква *S* (Пекарский, II, 121; Успенский 1975, 209, примеч. 45). Соответственно, в “Тресотиниусе” Сумароков заставляет Тресотиниуса, т.е. Тредиаковского, спорить с подьячим, настаивая на таком правописании: “Тресотиниус... Тут поставь зело. Подьячий. Благодетель мой, у нас зела в приказах не пишут; ныне зела и в писменных азбуках нет. Тресотиниус. Я хочу, и действительно хочу, чтоб стояло зело, а не земля” (Сумароков, V, 319). Ср. еще: “Подьячий... Да как знал я, что и зело, а не землю в заглавии написал. Тресотиниус. Покажи... Хорошо. вижу, вижу, хорошо и смотреть нечево, и все написано по орфографии. Видно, что в тебе путь есть. Достоин ты секретарем быть” (там же, 320–321). Сам Сумароков в статье “О правописании” (1768–1771 гг.) выступает противником буквы “зело”

(Сумароков, X, 10–11), критикуя при этом орфографические рекомендации Тредиаковского.

Вообще Тредиаковский изображен в “Тресотиниусе” как педант, который рассуждает о буквах (имеется в виду, конечно, “Разговор... об орфографии”): в частности, он заявляет себя приверженцем “тверда об одной ноге” и противником “треножного тверда”. В присочиненной Тредиаковским “новой сцене” к “Тресотиниусу” выведен Сумароков (см. § 8 наст. работы) причем Тресотиниус говорит ему: “Как бы я вам не сказал такова одноножного тверда, которое будет зело, зело, зело твердо” (Куник 1865, 498). Эти слова Тресотиниуса у Тредиаковского полемически противопоставлены все тем же стихам сумароковской “Эпистолы о русском языке” (“зело, зело, зело, дружок мой ты искусен...”) и должны восприниматься именно на этом фоне: если Сумароков обыгрывает двойное значение слова *зело*, то Тредиаковский обыгрывает двойное значение слова *твердо* – у того и у другого автора соответствующее слово выступает и как название буквы, и как наречие.

Сходным образом в “Ответа на Критику” (1750 г.), полемизируя с Тредиаковским и отстаивая “употребительную” форму *братьев* (вместо формы *братий*, которую рекомендует Тредиаковский в “Письме... от приятеля к приятелю”), Сумароков пишет, пародируя стиль Тредиаковского: “зело зело братьев я здесь в удобность ево положил много” (Сумароков, X, 97). Выражение *зело зело* становится, таким образом, опознавательным сигналом, обозначая полемическую направленность против Тредиаковского; соответственно, на основании позднейших примеров проясняется и смысл данного сочетания в “Эпистоле о русском языке”.

³¹ Это место цитирует впоследствии Ломоносов в эпиграмме “Злобное примирение...” (1759 г.), называя при этом Сумарокова “Аколастом”, а Тредиаковского – “Сотином”:

Аколаст написал: “Сотин лишь врать способен”,
А ныне доказал, что сам ему подобен.

(Сухомлинов, II, 158; Ломоносов, VIII, 659)

Между тем, в стихотворении “На сочетание стихов российских” Ломоносов непосредственно называет Тредиаковского именем “Штивелий” (Сухомлинов, II, 287; Ломоносов, VIII, 543). Скорее всего, Ломоносов воспользовался прозвищем, заимствованным у Сумарокова. Мы не знаем, однако, когда было написано это последнее стихотворение Ломоносова, представляющее собой отклик на стиховедческий трактат Тредиаковского 1735 г. и непосредственно перекликающееся с ломоносовским “Письмом о правилах российского стихотворства” 1739 г. (Ломоносов, VII, 16; Сухомлинов, III, 9–10; ср.: Сухомлинов, II, примечания, 390–391): в принципе не исключено, что оно предшествует сумароковской эпистоле, и тогда надо полагать, что не Ломоносов заимствовал данное прозвище у Сумарокова, а наоборот – Сумароков у Ломоносова. Правда, Тредиаковский в “Письме... от приятеля к приятелю” упрекает именно Сумарокова, а не Ломоносова в заимствовании данного имени у Гольберга: “Автор [Сумароков] толь мал в вымысле, что ни имен для смеха выдумать от себя не мог: его и Штивелиус в Эпистоле о стихотворстве так же чужой, а именно из... Голберга” (Куник 1865, 442); Берков (1936, 96) видит здесь явное указание на то, что сумароковская эпистола предшествовала упомянутому стихотворению Ломоносова – в противном случае, по мнению Беркова, Тредиаковский не преминул бы упомянуть Ломоносова. Но “Письмо...” Тредиаковского посвящено всецело и исключительно критическому рассмотрению творчества Сумарокова (к Ломоносову, напротив, Тредиаковский выказывает здесь крайнее уважение, противопоставляя его Сумарокову – Куник 1865, 467, 476): Тредиаковскому важно в данном случае указать, что Сумароков не оригинален в своем творчестве. К тому же, он вполне мог не знать о том, что Ломоносов является автором стихотворения “На сочетание стихов российских”. Вопрос, таким образом, остается открытым.

Именем “Штивелиус” по отношению к Тредиаковскому пользуется и Н. Н. Поповский в сатире “Возражение, или Превращенный петиметр” (1753 г.), направленной против И. П. Елагина; Поповский цитирует при этом сумароковскую “Эпистолу о стихотворстве”:

Всей силой тщился ты то свету показать,
Что сам Штивелиус не может так соврать.

(Поэты XVIII века, II, 385)

Относительно авторства Поповского см.: Берков 1936, 114–134; Модзалевский 1958, 130–132; совершенно абсурдно предположение Моисеевой (1973, 58), что автором этой сатиры является Тредиаковский (!).

³² *Magistr Stiefelius* (Magister Stiefelius) – имя педанта в немецком переводе комедии Гольберга “Jacob von Tyboe eller den stortalende Soldat”, которая по-немецки называется “Vtamarbas oder der groszsprecherische Officier”; в датском оригинале соответствующий персонаж носит имя “Magister Stygotius” (см.: Сухомлинов, II, примечания, 392–399).

³³ Ср. замечания Тредиаковского в “Письме... от приятеля к приятелю” 1750 г. (Куник 1865, 441, 442, 485) и возражения Сумарокова в “Ответе на Критику” 1750 г. (Сумароков, X, 102–103).

³⁴ В первоначальном варианте сумароковских эпистол наиболее резкие выпады против Тредиаковского отсутствовали; раздраженный отзывом Тредиаковского от 12 октября 1748 г., Сумароков усиливает свои “язвительства” (см.: Ломоносов, IX, 938–939).

³⁵ *Как они* – германизм у Сумарокова: слово *как* калькирует нем. *als* или *wie*.

³⁶ Ср. противопоставление русского и мордовского языка в позднейшем стихотворении Сумарокова “О французском языке”, опубликованном в 1774 г.: говоря о недопустимости заимствований, Сумароков спрашивает: “Или уж наш язык мордовскова гнусняе?” (Сумароков, VII, 369; Сумароков 1957, 192). Мордовский язык выступает как пример нелитературного языка – языка, лишённого литературной традиции.

³⁷ Характерен в этом плане следующий эпизод. В 1768 г. Сумароков представил И. П. Елагину, назначенному перед тем директором театров, свою трагедию “Вышеслав”; тот вернул ее, указав, что четыре стиха трагедии, противные “его нежному слуху”, следует изменить (необходимо иметь в виду, что Елагин, бывший в свое время ревностным почитателем Сумарокова, стал к этому времени его врагом; впоследствии они помирились). Сумароков в письме к императрице от 15 августа 1768 г. находит эти притязания несостоятельными, ссылаясь на то, что Елагин не имеет “довольного знания во французском языке и никакого в поэзии” (Письма русских писателей XVIII века, 111, ср. 202; Лонгинов 1871, стлб. 1653). Итак, апелляция к “нежному слуху” в принципе предполагает владение французским языком: французский язык и французская языковая ситуация оказываются эталоном (моделью) для России.

³⁸ Ср. более широкий контекст:

Письмо, что грамоткой простой народ зовет,
С отсутствующими обычну речь ведет:
Быть должно без затей и кратко сочиненно,
Как просто говорим, так просто изъясненно,
Но кто не научен исправно говорить,
Тому не без труда и грамотку сложить.

Выражение *обычна речь* означает “разговорная речь”. Эти слова Сумарокова любопытно сопоставить с прямо противоположным заявлением Тредиаковского (в статье о правописании прилагательных 1755 г.), которое мы уже цитировали выше: “Никто не пишет ни письмá о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора” (Пекарский 1865, 109). Не исключено, что Тредиаковский и в данном случае полемизирует с эпистолой Сумарокова.

³⁹ И в другом, более позднем стихотворении – “Письме ко князю Александру Михайловичу Голицыну” (после 1769 г.?) – Сумароков бранит писателей, которые

... словами нас дарят
Какими никогда нигде не говорят.

(Сумароков, IX, 208; Сумароков 1957, 302)

Эта фраза дается в контексте противопоставления “надутых” и “нежных” слов – эпитетом “надутый” квалифицируются высокие славянизмы, тогда как “нежный” характеризует разговорную языковую стихию (ср. выше, примеч. 11).

⁴⁰ Ср. совершенно такое же восприятие “Бовы” и у Ивана Сечихина, переводчика “Анфроскопии” (латинского физиогномического трактата). В предисловиях к своему переводу (1732 г.) Сечихин заявляет себя приверженцем языковой программы

молодого Тредиаковского и превозносит “Езду в остров Любви” (см.: Сечихин 1732, л. 1 об., 3 – 3 об.); при этом “Езда в остров Любви” противопоставляется “Бове” и характерным образом – церковнославянской “Пчеле”: оба произведения объединяются в своей противопоставленности новой литературе и новому литературному языку. Так, в предисловии “К Зоилу” Сечихин выражает уверенность в том, что его труд не избежит нападок Зоила, поскольку тот перед тем осудил “Езду в остров Любви”: “Знать, деревенския бабы, на попрядуху собравшись, ... с тобою конференцию имели и цензоровать тебя научали. Хорошо для вас книга о Бове Королевиче, в которой повествуется древния оныя о Лукопере исполние, преславном Полкане и Милитрисе истории; еще ж и книга Пчела, не знаю по истинне которым автором изданная, без всякого погрешения... яко благочестия своего наставница, апробации достойна, ис которой ты многия доводы в публичных диспутациях на свадьбах у мужиков деревенских и у братины по праздникам со учеными оными дьячками и пьяным клиром привести можешь” (там же, л. 4). Знаменательна ссылка на клириков, носителей церковной культуры, которые ассоциируются с деревенскими мужиками постольку, поскольку и те и другие принадлежат к патриархальной культуре.

Итак, и Сумароков и Сечихин воспринимают язык “Бовы” как книжный, противопоставляя его новому литературному языку, и это обусловлено ориентацией литературного языка на разговорное употребление. Списки “Бовы” разнородны в языковом отношении: язык “Бовы” варьируется от упрощенного церковнославянского с большим количеством русизмов до окниженного русского, изобилующего славянизмами и архаизмами; как бы то ни было, в перспективе разговорной речи язык этот может восприниматься как книжный и даже ассоциироваться с церковнославянским.

Любопытно, что говоря о необходимости ориентироваться на Францию и на “весь политичный свет”, Сечихин иронически замечает, обращаясь к Зоилу: “Разве ты у мордвы и чуваша инако научился?” (там же, л. 3 об.); как мы видели, противопоставление французского и мордовского языков представлено и в “Эпистоле о русском языке” Сумарокова. Общая установка может приводить, таким образом, к совпадениям, доходящим до деталей.

⁴¹ Ср. выше (примеч. 11) об эпитете “нежный” как характеристике русского языка. Следует иметь в виду, что Сумароков может объединять – в перспективе живой русской речи – церковнославянский и приказной язык: не случайно такое слово как *понеже* – слово церковнославянского словаря, широко представленное в церковных книгах, – регулярно выступает у него как символ подьяческой речи.

Подобно Сумарокову, и М. Д. Чулков связывал “Бову” и “Петра Златых Ключей”, также как и другие повести такого же рода, именно с приказным сословием; не исключено, что это обусловлено прямым влиянием сумароковской эпистолы. Так, в журнале “И то и сь” (1769, неделя 10, стр. [5]) Чулков говорит о подьячем, который промышлял переписыванием книг: “По прекращении приказной службы, кормит он голову свою переписыванием разных историй, которая продаются на рынке, как то например: Бову Королевича, Петра златых ключей, Еруслана Лазаревича, о Франце Венецианине, о Герионе, о Евдоне и Берфе, о Арсасе и Размере, о Российском Дворенине Александре, о Фроле Скобееве, о Барбосе разбойнике и прочия весьма полезныя истории, и сказывал он мне, что уже сорок раз переписал историю Бовы Королевича...”. См. вообще о восприятии этих произведений в XVIII в.: Кузьмина 1964, 56–59, 187–193.

Отметим еще, что Лукин в предисловии к “Моту, любовию исправленному” (1765 г.) указывает на язык повести о Еруслане Лазаревиче как на типичный пример дурной прозы, при том что в качестве примера плохой поэзии фигурируют у него стихи Шапелена (см.: Лукин 1765, I, стр. XXI; Лукин и Ельчанинов 1868, 13); если упоминание “Шапеленских стихов” в этом контексте свидетельствует о влиянии Буало, то ссылка на повесть о Еруслане Лазаревиче определяется собственно русской литературной традицией – вполне возможно, что и Лукин ассоциирует язык этой повести с приказным языком.

⁴² Понятие грамоты прочно связывается для Сумарокова с русским, а не с церковнославянским языком. Показательно в этом смысле его письмо к Екатерине II от октября 1767 г., где он пишет о своем зяте, что тот “за неумением грамоты. . . ,

кроме Часовника ничего не читает” (Письма русских писателей XVIII века, 104). Само собой разумеется, что умение читать Часовник предполагает определенное обучение – однако, именно обучение по складам.

Сообщение Сумарокова, что по “Бове” и “Петру Златых Ключей” могли в XVIII в. учиться грамоте, заслуживает, по-видимому, полного доверия. Так, в одном списке “Петра Златых Ключей” 1750-х гг. [собрание Ленинградского Государственного Университета, Ms. Еигор. СХII (Ms. Е.III.39)] мы встречаем характерную запись: “Сия История о преславном рыцаре и ковалере Петре Златых Ключей и о прекрасной французской Магилене королевне дворцового Сясаго рятку крестьянина Фомы Кузнецова. А купил сию Историю в Сантпигтер-бурхе на рынке сын ево Кирил Фомин сын Кузнецова в 1753 году марта 26 дня для научения писать, притом и для внимания писания. В сей Истории потписал своею рукою Кирилл Кузнецов” (Кузьмина 1964, 191).

⁴³ В свою очередь, полемика с Третьяковским – с сумароковских позиций – может быть, содержится в следующих стихах из “Сатиры, сочиненной чрез напольного поручика Бра. . .” (Я. И. Брандта?):

Иной, лишь выучив псалтырь да часослов,
Подумал о себе, что он и богослов.
Умея написать лишь только аз и буки,
Возмнил, что знает все искусства и науки.
Искусен ты до бук, но не достиг зела,
И ты вступаешься днесь в письменны дела.

(Поэты XVIII века, II, 396)

Нетрудно усмотреть здесь прямую аллюзию к тому месту сумароковской “Эпистолы о русском языке”, которое направлено против Третьяковского (“зело, зело, зело, дружок мой ты искусен” и т.п. – ср. выше, примеч. 30).

⁴⁴ Равным образом, отвечая на критику своего посвящения (“дедикации”) к “Аргениде”, Третьяковский заявляет, что в его посвящении “слова все избранныя” и ссылается при этом на “церковныя наши книги” (“Доншение в Академию наук на экзаменаторов дедикации к Барклаевой Аргениде” 1750 г. – Третьяковский 1849, 136–137). “Дедикация” Третьяковского была отдана на рассмотрение Крашенинникову, Ломоносову и Попову, которые подвергли ее критике (Материалы АН, X, 534, 536–537, 559–560, № 689, 693, 733; Пекарский, II, 147–151).

Что именно подразумевает Третьяковский под “избранными словами”, позволяют понять конкретные его замечания в “Письме. . . от приятеля к приятелю” относительно необходимости “выбора слов” и правильного “избрания речей”. Так, например, Третьяковский говорит здесь о Сумарокове: “Помнит ли почтенный Автор, что он Оду сочинял, то есть самый высокий род стихотворения? . . . для чегож не старался он о выборе слов? Ода не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удаляется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. По сему, чегоб ради ему не положить *воззри*, вместо *взгляни*?” (Куник 1865, 456); “худо он умеет слова выбирать: ибо пишет в Трагедиях *опять* за *паки*, *этот* за *сей*, *эта* за *сія*, *это* за *сие*” (там же, 476); ср. еще утверждение Третьяковского, что “он [Сумароков] никакова отнюд не имеет искусства в употреблении, и в избрании речей” (там же, 483) – поводом для этого последнего замечания послужило неправильное употребление славянизма *седалище*.

⁴⁵ Так, Третьяковский говорит по поводу ошибок Сумарокова, касающихся глагольного управления: “. . . Автор положил глагол *спасаю* с родительным падежем без предлога *от*. Мы прочии все положилиб сию речь так: *Ты от грознаго меча спасаешь*, а не *Ты грознаго меча спасаешь*. Но Автору угодно писать по новому. Впрочем, сколько его сие сочинение ни новое, и ни противное языку; однако он ясно о себе показал, что он мало читывал молебный канон, называемый Параклис: ибо там точно, да и праведно, стоит: *от тляшких и лютых мя спаси*. Не лучшель по сему Автору приняться за наши прежде книги, дабы научиться правьному сочинению?” (Куник 1865, 449); “. . . на жизнь *алкать*, сочинено весьма странно: ибо глагол *алчу* есть самостоятельный, и не правит никаким падежом, то есть, говорится просто *алчу*. Пусть прочтет Автор послания Святаго Апостола Павла, то и увидит во многих местах мою правду, а свою превеликую погрешность” (там же, 478).

⁴⁶ Так, например, констатируя неправильное употребление слова *поборник* у Сумарокова,

Тредиаковский замечает: “. . . Сие показывает, что или Автор мало бывает в церкви на великих вечернях, и на всенощных бдениях, или бывает да не тогда, когда первый глас поется: ибо инако, тоб Автор мог услышать в Богородичне начинающемся *Всемирную славу*, что слово *поборник* значит не *противника*, но *защитника*, и *споспешника*” (там же, 480; ср. в этой связи критические замечания относительно употребления слова *поборать* в огулье Тредиаковского о сумароковской трагедии “Гамлет” от 10 октября 1748 г. – Материалы АН, IX, 461, № 576; Пекарский, II, 130). Сходным образом выяснение значения слова *твердь* предполагает, по мнению Тредиаковского, обращение к Псалтыри, т.е. анализ употребления этого слова в церковных книгах (Куник 1865, 481).

Любопытны в этой связи позднейшие рассуждения Сумарокова по поводу слова *поборник* в статье “О правописании” (1768–1771 гг.): “слово *Поборник*, не то знаменует каково оно, но совсем противное; Поборник мой по естеству своему тот, который меня поборает: а по употреблению тот, который за меня друга поборает” (Сумароков, X, 14). Итак, “естество”, т.е. естественное (непосредственное) восприятие данного слова, обусловленное его этимологическими связями, противопоставляется “употреблению” – под “употреблением” в данном случае понимается употребление в церковных книгах, т.е. Сумароков признает, что слово *поборник* употребляется в значении “защитник”, но констатирует неестественность такого употребления, несоответствие его здравому смыслу. Не исключено, что на эти рассуждения Сумарокова оказала какое-то влияние критика со стороны Тредиаковского.

⁴⁷ Ср. характеристику церковнославянского языка как “чистого”, а отсюда и ориентацию на этот язык при установлении русских языковых норм, уже в “Разговоре . . . об орфографии” 1748 г.: обсуждая здесь правописание прилагательных, Тредиаковский говорит, что необходимо писать так, “как нам чистый наш язык велит, а именно, *славенский*” (Тредиаковский 1748, 309; Тредиаковский, III, 210).

⁴⁸ Соответственно, в статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский называет церковные книги “классическими” (Пекарский 1865, 108) – как бы подчеркивая, что они призваны играть в России такую же роль, какую на Западе играют классические (образцовые) авторы.

⁴⁹ В Казанском сборнике эта строка читается иначе: “Увидит, что там *коль*, не за *колн*. . .”. Оба варианта, вообще говоря, правомерны; при этом миллеровский список дословно соответствует “Письму . . . от приятеля к приятелю”.

⁵⁰ Если форма *коль* в равной мере указывает на Ломоносова и на Сумарокова, то форма *нынь*, которую также критикует Тредиаковский в своей эпиграмме (ср.: “не *нынь* там и не *вал*, но *нынь* и *волна*), характерна для Ломоносова. Сумароков в статье “О правописании” (1768–1771 гг.) выступает против этой формы, приписывая ее именно Ломоносову (Сумароков, X, 16); соответственно, в своих пародиях на Ломоносова 1759 г. – в “Одах вздорных”, а также в “Дифирамве” (“Позволь, великий Бахус, *нынь*. . .”) – Сумароков регулярно употребляет эту форму (Сумароков, II, 205, 209, 214; Сумароков 1957, 286, 287). Итак, если эпиграмма Тредиаковского в принципе направлена против Сумарокова, то в данном случае, очевидно, Тредиаковский попутно задевает и Ломоносова.

Что касается слова *вал* (в значении “волна”), то мы также находим его как у Сумарокова, так и у Ломоносова. В “Письме . . . от приятеля к приятелю” Тредиаковский рассматривает сумароковские строки

Делá, что Небеса пронзают,
Лесá, и гордые валы,

замечая по этому поводу: “что то у нас за разум, когда делá прободают небо, лес, и гордую вóлну?” (Куник 1865, 455–456) – итак, сумароковское *вал* соотносится у Тредиаковского со словом *волна* (ср. еще рассуждения в связи со словом *вал* там же, 464–466). Не менее характерно употребление слова *вал* в значении “волна” и для Ломоносова: между прочим, как *нынь* “нынь”, так и *вал* “волна” фигурирует в одной и той же сцене трагедии Ломоносова “Тамира и Селим” 1750 г. (действие I, явл. 3 – Сухомлинов, I, 226, 228; Ломоносов, VII, 298–299), которая в принципе и могла спровоцировать критическое выступление Тредиаковского.

⁵¹ Ср. здесь соответствующие характеристики конкретных слов или словоформ. Так, Тредиаковский расценивает как “подлое” слово *миг* (в отличие от *мгновение* – Куник 1865, 459), а также слово *колн* (там же, 479; такая же характеристика этого слова дается

и в статье о правописании прилагательных 1755 г. – Пекарский 1865, 109). “Подлыми” или “площадными” он именует такие формы, как *падене* (вместо *падение*), *отмищене* (вместо *отмщение*), *желанье* (вместо *желание*), *воспоминанье* (вместо *воспоминание*), а также *Офелю*, *Полонья* (вместо *Офелию*, *Полония*), *Божьему* (вместо *Божьему*) (Куник 1865, 477, 469). Точно так же он относит к “площадному” употреблению “*опять* за *паки*, *этот* за *сей*, *эта* за *сія*, *это* за *сіе*” (там же, 476), а также такие деепричастные формы, как “*премѣня* вместо *премѣнив* и *премѣливши*, *увидя* за *увидѣши*, *усладясь* за *усладившись*, *утомя* за *утомивши*” (там же, 477). Наконец, к “площадному употреблению” относятся в “Письме. . . от приятеля к приятелю” формы им. падежа мн. числа ср. рода на *-и* вместо *-ія* (“*воздыхани* за *воздыханія*, . . . *дѣйстви* за *дѣйствиа*”), на *-ы* вместо *-а* (“*озѣры* за *озѣра*, *достоинствы* за *достоинства*, . . . *прави*лы за *правила*, *прави* за *права*, . . . *блаты* за *блата*, *желѣзы* за *желѣза*, *посольствы* за *посольства*”) и формы род. падежа мн. числа на *-ев* вместо *-ій* (“*братіев* за *братіи*, *подозрѣив* за *подозрѣи*. . . *слѣдствіев* за *слѣдствіи*, *нещастіев* за *нещастіи*, *отсутствіев* за *отсутствіи*”) (там же, 476). Замечательно, что в подметном письме, написанном в октябре 1755 г. и подкинутом к Ломоносову, Третьяковскому, чтобы замаскировать себя, специально употреблял эти “площадные” формы, но не сумел сделать это достаточно последовательно и сбился на правильное употребление, чем себя, между прочим, и выдал. Г. Н. Теплов в специально сочиненной по этому поводу записке, так говорит об этом: “хотя подкрадываясь под других писателей в некоторых местах сначала *желаим*, по *Рускии*; *награжденіев*, *предувѣреніев*, *начала*, *основани*, вместо *желаем*, по *Руски*, *награжденій*, *предувѣреній*, *начала*, *основанія*; но того нимало уже не наблюдал, когда далее заврался” (Пекарский 1868, 72; ср.: Пекарский, II, 188) – для Теплова это служит одним из основных признаков, свидетельствующих о принадлежности данного сочинения Третьяковскому. Помимо “Письма. . . от приятеля к приятелю”, Третьяковский обсуждает подобные формы в целом ряде своих сочинений – в “Разговоре. . . об ортографии” 1748 г. (Третьяковский 1748, 329; Третьяковский, III, 223), в Ответе на письмо Сумарокова о сафической и гораціанской строфах 1755 г. (Пекарский, II, 256), в статье о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский 1865, 109).

⁵² Когда Третьяковский заявляет в предисловии к “Езде в остров Любви” (1730 г.), что он эту книгу “неславенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собою говорим” (Третьяковский 1730, [12]; Третьяковский, III, 649), то выражение *простое слово* может рассматриваться именно как калька с лат. *lingua rustica*. См.: Успенский 1983, 94.

⁵³ Ср. в Вейсманновом лексиконе 1731 г.: “*homo rusticus* – грубыи, простыи человек, деревенский мужик” (стр. 513); вместе с тем, выражение *homo rusticus*, в противоположность *homo litteratus*, означало в свое время человека, не владеющего книжной латынью.

Что касается эпитета *грубый* по отношению к языку, то он, видимо, имеет тот же смысл, что и *подлый*: в качестве языковой (стилистической) характеристики оба эпитета могут представлять как синонимы. Характерно в этом смысле, что в рукописном оригинале “Разговора об ортографии” (Архив АН, разр. II, оп. 1, № 137) Третьяковский исправляет выражение *грубым языком*, на *подлым языком*, явно воспринимая оба выражения как равнозначные; в другом случае он исправляет здесь *грубаго*. . . *выговора* на *неисправнаго*. . . *выговора* (ср. соответствующие места в исправленном виде: Третьяковский 1748, 295, 292; Третьяковский, III, 200, 197). В примечании к “Науке о стихотворстве и поэзии” Буало, Третьяковский замечает (имея в виду переводческую деятельность д’Ассуси – французского переводчика Овидия): “Перевод сей есть збор изображений самых подлых и грубых” (Третьяковский 1752, I, 7, примеч.; Третьяковский, I, 32, примеч.) – оба эпитета в этом контексте выступают как равнозначные.

⁵⁴ Так, например, в “Письме. . . от приятеля к приятелю” Третьяковский относит такие формы, как *падене*, *отмищене*, *желанье*, *воспоминанье*, *оружье*, *сомненье*, *понятые*, *безумье*, *Офелю*, *Полонья* (вместо *падение*, *желание*, *Офелию*, *Полония* и т.п.), к “подлому употреблению”, тогда как форма *Божьему* (вместо *Божьему*) относится у него к “площадной вольности” (Куник 1865, 477, 469).

Сказанному не противоречит то обстоятельство, что слова *подлый* и *площадной* спорадически могут соотноситься с теми или иными французскими словами, передавая в этом случае оттенки французского словоупотребления. Так, в “Рассуждении о комедии вообще” (1752 г.) Третьяковский говорит: “. . . Подлые и площадны слова не должны быть позволены на Театре, ежели они не будут подкреплены некоторым

родом разума” (Тредиаковский 1752, II, 208; Тредиаковский, I, 429). Соответствующий отрывок представляет собой дословный перевод из Рапена, причем слово *подлый* соответствует французскому *bas*, а *площадной* – *vulgaire*, ср. во французском оригинале: “... Les termes bas & vulgaires ne doivent pas estre permis sur le theatre, s'ils ne sont souëtenus de quelque sorte d'esprit” (Рапен 1675, 140). Совершенно очевидно, вместе с тем, что вне специальных контекстов такого рода “подлое” и “площадное” могут выражать у Тредиаковского одно и то же значение.

⁵⁵ Ср. здесь: “... Мне сие дивно, чего уж ради, при самом заведении простонароднаго окончания множественнаго в прилагательных именах мужеских на (е), вместо на (и), не подтверждены и сии, именно *примѣчаніи*, вместо *примѣчаній* [видимо, описка: следует читать либо “*примѣчаніи*, вместо *примѣчанія*”, либо “*примѣчаніев*, вместо *примѣчаній*”]; еѣ вместо *ея*; *коль* от подлаго *коли*, вместо *преизряднаго когда* и прочаго? Ибо все сии окончания и употребления хотя вожделенноу на ложноуж тем что неблагородноу простотоу такостаются и величаются” (Пекарский 1865, 109–110).

⁵⁶ Совершенно так же употребляет эпитеты *площадной* и *простонародный* Г. Н. Теплов, взгляды которого на литературный язык обнаруживают вообще прямую зависимость от Тредиаковского. Так, в трактате “О качествах стихотворца рассуждение”, опубликованном в майской книжке “Ежемесячных сочинений” за 1755 г. (перездано: Берков 1935, 336–351; Берков 1936, 179–190; Берков ошибочно приписал этот трактат Ломоносову, авторство Теплова раскрыто Модзалевским, 1962), – направленном против Сумарокова и сумароковского последователя Елагина (см.: Берков 1935, 330–331; Берков 1936, 167–170; Модзалевский 1962, 147–156) – Теплов, вслед за Тредиаковским, говорит о пользе чтения церковных книг для овладения правильным русским слогом, о необходимости ориентации на грамматические правила, а не на языковой укус и, вместе с тем, обвиняет Сумарокова в “речах площадных и простонародных” (Теплов 1755, 378, 383, 387; см. изд.: Берков 1935, 340, 342–343, 345; Берков 1936, 181, 183, 185). “Площадные и простонародные” речи явно относятся при этом к разговорному началу, т.е. имеется в виду установка на разговорное употребление, присущая Сумарокову. Можно сказать, что статья Теплова написана с позиций Тредиаковского (следует иметь в виду, что Тредиаковский и Теплов были в это время единомышленниками, отношения их испортились к осени 1755 г.).

⁵⁷ Некоторые исследователи полагают, что в лице педанта Бобембиуса Сумароков вывел Ломоносова, т.е. спор Тресотиниуса и Бобембиуса о форме буквы *т* пародирует полемику Тредиаковского и Ломоносова (см.: Рулин 1929, 240, 248–249). Действительно, Бобембиуса поддерживает в этом споре слуга Кимар, который заявляет, что предпочитает “твердо треножное твердо одноножному”: “У етова, ежели нога подломится, так ево и брось; а у тово хотя и две ноги переломятся, так еще третья останется” (Сумароков, V, 305). Аргументация Кимара в какой-то мере напоминает заявление Ломоносова относительно букв *ѳ* и *ѳ*, о которой вспоминает Сумароков в статье “О правописании” (1768–1771 гг.): “Спрашивал я г. Ломоносова, ради чего он Ф а не ѳ оставил; на что мне он отвечал тако: *Ета де литера стоит подпертися; и следовательно бодряе*: ответ издевичен, но не важен” (Сумароков, X, 10–11). Близкое высказывание можно найти в “Разговоре... об орфографии” Тредиаковского (1748 г.), где Чужестранный человек говорит Российскому: “я думаю, что вам буква (ѳ), для того лучше нравится, что она скосыреватее буквы (ѳ)” (Тредиаковский 1748, 165; Тредиаковский, III, 107; ср.: Успенский 1975, 198, примеч. 34); не исключено, что реплика Ломоносова восходит именно к этому сочинению Тредиаковского, и тогда в принципе возможно предположить, что цитированная беседа Ломоносова и Сумарокова о буквах *ѳ* и *ѳ* состоялась перед 1750 г. – в этом случае она могла найти отражение в “Тресотиниусе” (Ломоносов уже в письме от 27 мая 1749 г. сообщал Эйлеру, что он занят “совершенствованием родного языка” – Ломоносов, X, 464). Более вероятно, однако, что эта беседа имела место после выхода в свет ломоносовской грамматики (где в § 22 говорится о ѳиге как избыточной букве – Сухомлинов, IV, 20; Ломоносов, VII, 401), т.е. не ранее 1757 г.

⁵⁸ Ассоциация “треножного тверда” со скорописью была совершенно очевидна для Петра I, который, определяя начертания букв гражданского алфавита, писал М. П. Гагарину 8 ноября 1708 г.: “Только *добро, твердо* напечатать, которые сходны к печати, а не к скорописи, как здесь объявлено: Д, Т [а не *ѳ, ѳ*]” (Письма и

бумаги Петра, VIII, 1, 289). Как видим, Петра волнуют те же проблемы, что и сумароковских педантов. Вопреки указанию Петра, “треножное твердо” (строчное, не прописное) употребляется в течение всего XVIII и начала XIX в. – вплоть до 1830-х гг. (Шицгал 1974, 43); характерно, что оно сохраняется в курсиве, который вообще ближайшим образом соответствует скорописи.

⁵⁹ Отметим еще противопоставление “благородства” – “подлородству” в замечке Сумарокова “Сон. Счастливое общество” 1759 г. (Сумароков, VI, 367), а также его замечание на “Наказ” Екатерины II: “...наш низкий народ никаких благородных чувств еще не имеет” (Сб. РИО, X, 86). Ср. в письме к Екатерине II от 24 января 1773 г.: “...бедность рождает подлость, а поэзия подлости и крайних недостатков не терпит” (Письма русских писателей XVIII века, 161).

⁶⁰ Противопоставляя “употребительные” обороты “правильным” Сумароков здесь же подчеркивает, что он следует именно употреблению. Вот, что он пишет по поводу форм *братиев, правила* и т.п., которые подверг критике Третьяковский в “Письме... от приятеля к приятелю” (Куник 1865, 476; см. выше, примеч. 51): “...Я употреблению с таким же следую рачением как и правилам: правильныя слова делают чистоту, а употребительныя слова из склада грубость выгоняют, на пример: *Я люблю сего, а ты любишь другого*, есть правильно; но грубо. *Я люблю етова, а ты другова*. – От употребления и от изгнания трех слогов *го* и *гаго* слышится приятнее ... *Правила, правы, льты* и протчия многия средняго рода слова, во множественном пишу я вместо *правила, права, льта*, и протч. от употребления, а я и общее употребление за устав же почитаю (‘Ответ на Критику’ 1750 г. – Сумароков, X, 97–98). И позднее, обсуждая формы такого рода, Сумароков говорит: “Надобно знати, когда написать *Облака*, и когда *Облаки*: что до нежнаго слуха надлежит, то весьма пространнаго истолкования требует. Но *Основании, Желании*, вместо *Основания и Желания*, редко употреблены быть могут, да и то для весьма редко случающейся красоты: а в Поезии *Облаки* за *Облака*, и часто и кроме рифмы класти, не только можно но и должно. Иногда и в прозе, коли я не поставлю *Облаки*, я изображу не то” (‘Примечание о Правописании’, не ранее 1773 г. – Сумароков, X, 45–46).

⁶¹ Ср. совершенно такой же подход у С. Волчкова в его полемике с Третьяковским по поводу перевода Плутарха. В 1750 г. Волчков прислал в Академию наук свой перевод “Житий славных мужей” Плутарха; перевод был отдан на рассмотрение Третьяковскому, Ломоносову, Крашенинникову и Попову и они подписали отзыв, сочиненный, по всей видимости, Третьяковским, где отмечались разнообразные погрешности в стиле перевода (Материалы АН, X, 477–478, № 623; Ломоносов, IX, 628–630; Пекарский, II, 154–155). Отвечая на критику, Волчков, между прочим, писал: “Когда я имел честь при четырех российских, у прусскаго двора бывших министрах служить, не то один из их сиятельств штиля моего площадным признать не изволил” (Пекарский, II, 156). В отличие от Третьяковского и других рецензентов, Волчков явно решает проблему стиля как проблему социолингвистическую.

⁶² В отношении слова *подлый* следует заметить, что это заимствование из польского, которое получило распространение в русском языке только в XVIII в. При этом именно в русском языке развивается особое значение слова *подлый*, связанное с социальным противопоставлением высших и низших слоев общества, т.е. именно здесь эпитет *подлый* приобретает социальную окраску – при том, что соответствующее польское слово (*podły*) не имеет такого значения (см.: Кохман 1977). Таким образом, Третьяковский и шишковисты исходят из первичного значения данного слова (представленного в польском языке), тогда как Сумароков и карамзинисты пользуются специфически русским его значением.

⁶³ О истории и семантике слова *ветропрах* см.: Виноградов 1966, 42; Хютль-Ворт 1956, 84. Это слово обнаруживает явные семантические связи с такими словами, как *ветренник, ветренный* и с таким фразеологизмом, как *пускать пыль в глаза*, что, может быть, проясняет его этимологию (Виноградов 1966, 42). Ср. в этой связи *Ветропрах* как имя щеголя в комедии Княжнина “Чудаки” (1790 г.); может быть, не случайно *петиметр* обычно рифмуется с *ветр* в поэзии XVIII в. (см., например: Поэты XVIII века, II, 374, 384, 387). Слово *ветренный* при этом – семантическая калька с фр. *volage* (ср. еще *papillon, léger* с тем же значением).

⁶⁴ Имя *Архисотолаш* явно образовано по той же модели, что и *Тресотиниус*: префикс

архи- соотносится по значению с префиксом *тре-*, а латинизированное окончание *-ус* соответствует просторечному окончанию *-аш*; эта разница в окончаниях отвечает различию языковой установки у Тредиаковского и Сумарокова. Таким образом, в обоих именах выделяется корень *-сот-* (фр. *sot* “глупый”), и они оформляются аналогичным образом – Тредиаковский как бы принимает вызов Сумарокова и возвращает полученную от него кличку в модифицированном и усиленном виде: если *Тресотиниус* читается как “очень глупый”, то *Архисотолаш* означает еще большую степень глупости.

Вместе с тем, и то, и другое наименование обнаруживает связь с литературной традицией. Если *Тресотиниус* намекает на пьесу Мольера и имя аббата Котена (см. выше), то *Архисотолаш* выступает как производное от имени Архилоха. Предыстория этого наименования такова. В первоначальном варианте предисловия к “Аргениде”, написанном не позднее января 1750 г., Тредиаковский допустил резкие полемические выпады против Сумарокова, насмешливо величая его Архилашем Архилохичем Суффеновым и обвиняя в незнании основных правил стихосложения; эти выпады были вычеркнуты из предисловия еще до сдачи книги в набор (см.: Ломоносов, IX, 949), но тем не менее это прозвище стало известно Сумарокову (см. свидетельство об этом в “Письме... от приятеля к приятелю” – Куник 1865, 484). Прозвище это образовано от имен греческого поэта Архилоха и римского Суффена. Тредиаковский специально подчеркивает в этой связи, что Суффен (*Suffenas*) – поэт, известный своим тщеславием, бездарностью и несносностью, явно намекая на то, что все эти качества в равной мере характеризуют и Сумарокова (“Письмо... от приятеля к приятелю” – Куник 1865, 484); надо сказать вообще, что Суффен знаменит главным образом тем, что Катулл высмеял его за плохие стихи, и Тредиаковский оказывается, тем самым, в положении Катулла. Между тем, имя Архилоха связывается с введением ямбического размера – применение этого имени к Сумарокову обусловлено претензиями последнего на создание русского ямбического стиха (о которых говорит Тредиаковский в предисловии к “Аргениде” – Тредиаковский 1751, стр. LXV–LXVI; ср.: Ломоносов, IX, 949–950; Куник 1865, стр. XLII–XLIV). К имени *Архилох* и восходит *Архисотолаш*, которое появилось под влиянием имени *Тресотиниус*, отражая полемику с “Тресотиниусом” Сумарокова; итак, прозвище *Архисотолаш* заключает в себе двойную зашифровку – оно соотносится как с “Тресотиниусом”, так и со стиховедческими притязаниями Сумарокова.

⁶⁵ В “Письме... от приятеля к приятелю” – в самом названии этого сочинения – Сумароков характеризуется как “автор двух од, двух трагедий и двух эпистол”; если прибавить сюда еще комедию “Тресотиниус”, появление которой явилось непосредственным поводом для сочинения данного трактата, то мы получим те семь “картин”, которые “намалевал” Архисотолаш-Сумароков.

⁶⁶ Реплика Кимара: “вот так то с высока носка нада по шогольские!” (Куник 1865, 499), может быть, подразумевает приверженность Сумарокова к ямбу (которая отразилась, между прочим, в прозвище *Архисотолаш* ср. выше, примеч. 64). В предисловии к “Трем одам парафрастическим” Тредиаковский передает отзывы о ямбе Ломоносова, согласно которому “Стопа, называемая Иамб, высокое сама собою имеет благородство, для того что она возносится с низу в верх, от чего всякому чувствительно слышна высокоость ея и великолепие”, а также Сумарокова, который “в Иамбе находит высокоость, благородство и живность”; свойственное ямбу “восхождение или вознесение”, т.е. переход от безударного слога к ударному, Тредиаковский именует при этом “вскоком” (Тредиаковский 1744, 3, 5; Куник 1865, 421, 423). Отголоски подобных рассуждений и слышатся, кажется, в цитированных словах Кимара.

⁶⁷ Архисотолаш-Сумароков говорит у Тредиаковского: “есть ли у вас Амбиция, а по Руски высокомерие...” (Куник 1865, 498); при этом обыгрываются различные значения слова *амбиция* (лат. *ambitio*, польск. *ambicja*, фр. *ambition*): “честолюбие, тщеславие” и “стремление, искание, домогательство”. Характерно в этом смысле, что Сумароков в своих письмах постоянно заявляет о своем “любочестии” (Письма русских писателей XVIII века, 128, 137, 163) – слово *любочестие* в XVIII в. коррелирует со словом *амбиция*, выступая как регулярный русский эквивалент к этому заимствованию.

Ср. в этой связи характеристику Сумарокова в рассматриваемой эпиграмме как “надменного”: “Престанет злобно врать и глупством быть надменный”.

⁶⁸ Ср. в сумароковском “Тресотиниусе” отзыв капитана Брамарбаса о Тресотиниусе-ТрEDIAKOBCKOM: “...каков ево чин, таков ево и поступок мне показался. Прямой титулярной неведомых нам языков учитель” (Сумароков, V, 315). ТрEDIAKOBCKOГO заделали эти слова, и он резко реагирует на них в “Письме... от приятеля к приятелю”: “Господину... Автору лехко касаться до чина и до поступок: Брамарбас его прямо и без закрышек говорит об общем нашем друге [т.е. о ТрEDIAKOBCKOM].... что каков его чин, таков его и поступок. Но я твердо знаю, что общий наш друг в чине благоговейно, со всеми добрыми, почитает верховнейшее благоволение производящее в чин, и непрекословно повинуется руке предводительствующей, по томуж благоволению, чин учрежденный. Высок ли сей? не его дело. Низок ли он? помнит что, по присловию, не можно всем старцам в игумнах быть. С моей сторонѣ, я еще и радуюсь, что поступки общаго нашего друга сходствуют с его чином: сие значит, что он не выходит из пределов своея должности. Напротив того, не дивлюсь, что поступка нашего Автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка, и с биением сѣрдца” (Куник 1865, 442–443).

⁶⁹ ТрEDIAKOBCKИЙ различает здесь “прямое” и “непрямое” употребление, причем “прямое” соответствует книжному, а “непрямое” – разговорному языку. Разговорную (обиходную) речь, в соответствии с традицией, он рассматривает как результат порчи книжного языка.

⁷⁰ Мнение о том, что писать славянизированным слогом означает писать “не по-русски” в известном смысле согласуется с заявлением Сумарокова в “Эпистоле о русском языке” (1748 г.):

Не мни что наш язык, не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой нерусскими зовем.

(Сумароков, I, 335; Сумароков 1957, 115)

Церковнославянские книги для Сумарокова – это во всяком случае книги “нерусские” и соответствующее восприятие может определять отношение к славянизмам.

⁷¹ Центральный Государственный Архив Древних Актов, ф. 199 (Портфели Миллера), № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об.–10 об. Бумага с водяным знаком ФМ (Клепиков, № 745–1761 г.). При воспроизведении текста сохраняем орфографию и пунктуацию оригинала, за исключением прописных букв в начале строки и деления на слова.

⁷² Предложения ТрEDIAKOBCKOГO опираются, возможно, на определенную традицию. Действительно, отчасти сходное правописание прилагательных – приближенное к церковнославянскому (коррелирующее с ним), но все же от него отличающееся – показано в первых грамматиках русского языка конца XVII в. Так, в рукописной грамматике на немецком языке неизвестного автора, написанной на бумаге с водяными знаками 1681 г. (Гос. Исторический музей, Син. 735; ср.: Протасьева, I, 17, № 599) кодифицированы формы *добрые* (мужской род), *добрыя* (женский род), *добрая* (средний род) (л. 26 об.). Сходным образом в грамматике Лудольфа 1696 г. даются формы *бѣлие* (мужской род), *бѣлия* (женский род), *бѣла* (средний род; не исключено, что это опечатка, вместо *бѣлая*), а также формы *каторие* (мужской род), *катория* (женский род), *которая* (средний род); впрочем, эти правила не соблюдаются в примерах русских разговоров у Лудольфа, где мы находим *розличние речи простие, пригожие женщины* и т.п. (см.: Лудольф 1696, 19, 25, 46, 60).

⁷³ Характерно, что ТрEDIAKOBCKИЙ настаивает на таком правописании и тогда, когда речь идет об издании его стихотворной Псалтыри и “Феоптии” – при том, что он предполагал напечатать эти книги в Синодальной типографии “церковным типом, как по всему духовные” (О Феоптии..., 537) и, соответственно, допускал здесь определенные элементы церковнославянской орфографии (см. там же, 538, 541–542). В письме справщикам Синодальной типографии от 1 мая 1757 г. ТрEDIAKOBCKИЙ говорит: “Вы изволите увидеть в подлиннике, что имена прилагательныя целыя множественнаго числа окончаваются мною мужеския на *и*, как: *святѣи*, женския на *е*, как: *святые*, а средния токмо на *я*, как: *святѣя*: сему всемерно непременно быть желаю” (там же, 543).

⁷⁴ Соответственно, Сумароков в статьях ‘Примечание о правописании’ и ‘О стопосложении’ утверждает, что это окончание выдумали подьячие, непосредственно связывая его таким образом с традицией приказного языка (Сумароков, X, 42, 75). Ср. еще его заметку ‘О правописании’ (Сумароков, X, 29–30).

⁷⁵ Соответственно, Сумароков говорит в статье “Примечание о правописании”: “Ежели следовати старине; так должно писати *Непорочнїи, непорочныя, непорочна[я]*; но *ИИ* пахнут отверженною от нас, хотя и не дельно, Славенщиною: и осталось писати во всех трех родах *непорочныя*” (Сумароков, X, 42); в другой статье (“О правописании”) Сумароков заявляет, что окончание *-и* отставлено “употреблением”, т.е. также рассматривает его как архаизм (Сумароков, X, 29). Следует иметь в виду, что в это время (конец 1760-х – 1770-е гг.) Сумароков не отвергает церковно-славянской традиции столь решительно, как он это делал в молодости; предпочтение, отдаваемое им окончанию *-я* мотивируется тем, что окончание это стилистически нейтрально, оно не отмечено ни как специфически церковнославянское, ни как специфически русское. Вместе с тем, в статье ‘О стопосложении’, по-видимому, несколько более поздней, Сумароков делает еще больший шаг в сторону славянизации, признавая возможность окончания *-и*, наряду с окончанием *-я*: он критикует тех, кто пишет “*которы* вместо *которыи*”, подчеркивая, что “должно писать или *которыи*, или *которыя*. А *которы* дают подьячия...” (Сумароков, X, 75). Как видим, форма на *-и* не только допускается, но фактически фигурирует как основная.

Между тем, еще в статье ‘К типографским наборщикам’ (1759 г.) Сумароков отвергает окончание *-и* как славянизм, чуждый русскому языку: “Ежели нам следуя тому поступать; так мы Славенским мужеским окончанием введем нечто не свойственное в нынешний язык наш, к чему народ не только привыкать не может, но и не станет” (Сумароков, VI, 309); ср. также критические замечания о правописании Тредиаковского в сумароковских статьях “Ответ на Критику” (1750 г.) и “Примечание о правописании” (Сумароков, X, 98, 42).

ЛИТЕРАТУРА

- Алодулов 1731 – В. Е. Алодулов: *Anfangs-Gründe der Russischen Sprache*. – В изд.: *Вейсманнов лексикон*, 1731 (приложение). Факсимильные воспроизведения: *Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts*. Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun, München, 1969 (= *Slavische Propyläen*, Bd. 55); *Weismanns Petersburger Lexicon von 1731*, Teil III, München, 1983 (= *Specimina Philologiae Slavicae*, Bd. 48).
- Архипов 1980 – А. А. Архипов: ‘О происхождении древнеславянской тайнописи’, *Советское славяноведение*, 1980, № 6, стр. 79–86.
- Архипов 1982 – А. А. Архипов: *Из истории габраизмов в русском книжном языке XV–XVI веков*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, М., 1982.
- Афанасьев 1859 – А. Н. Афанасьев: ‘Образцы литературной полемики прошлого столетия’, *Библиографические записки*, 1859, № 15 (стлб. 449–476), № 17 (стлб. 513–528).
- Барсов 1981 – *Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова*. Подготовка текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой. Под редакцией и с предисловием Б. А. Успенского, М., 1981.
- Берков 1935 – П. Н. Берков: ‘Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века. I. Анонимная статья Ломоносова (1755)’, *XVIII век*. Сборник статей и материалов [сборник 1], М.-Л., 1935, стр. 327–351.
- Берков 1936 – П. Н. Берков: *Ломоносов и литературная полемика его времени (1750–1765)*, Л., 1936.
- Берков 1962 – П. Н. Берков: ‘Несколько справок для биографии А. П. Сумарокова’, *XVIII век*. Сборник 5, М.-Л., 1962, стр. 364–375.
- Вейсманнов лексикон 1731 – *Teutsch-Lateinisch- und Russisches Lexicon, samt denen Anfangs-Gründen der Russischen Sprache*. Zu allgemeinem Nutzen bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften zum Druck befördert. Немецко-латинский и русский Лексикон купно с первыми началами рускаго языка к общей пользе при Императорской Академии наук печатанию издан, СПб., 1731. Факсимильное воспроизведение: *Weismanns Petersburger Lexikon von 1731*, Teil I–III, München, 1982–1983 (= *Specimina Philologiae Slavicae*, Bd. 46–48).
- Викторов 1881 – А. Викторов: *Московский Публичный и Румянцевский музей. Собрание рукописей И. Д. Беляева*, М., 1881.
- Виноградов 1935 – В. В. Виноградов: *Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка*, М.-Л., 1935.

- Виноградов 1966 – В. В. Виноградов: ‘Из истории русских слов и выражений (*поковырка, пригвоздить, фортель, вертопрах и щелкопер*)’, *Вопросы стилистики. Сборник статей к 70-летию со дня рождения профессора К. И. Былинского*, М., 1966, стр. 34–43.
- Вомперский 1968 – В. П. Вомперский: ‘Ненапечатанная статья В. К. Тредиаковского “О множественном прилагательных целых имен окончении”’, *Научные доклады Высшей школы. Филологические науки*, 1968, № 5 (47), стр. 81–90.
- Гуковский 1928 – Г. Гуковский: ‘К вопросу о русском классицизме. Состязания и переводы’, *Поэтика. Сборник статей*, Л., 1928 (= *Временник Отдела словесных искусств Государственного Института истории искусств*, IV), стр. 126–148.
- Гуковский 1962 – Г. А. Гуковский: ‘Ломоносов-критик’, *Литературное творчество Ломоносова. Исследования и материалы*, М.-Л., 1962, стр. 69–100.
- Клепиков – С. А. Клепиков: *Филиграни на бумаге русского производства XVIII – начала XX века*, М., 1978.
- Кобеко 1861 – Д. Кобеко: ‘Несколько псевдонимов в русской литературе XVIII века’, *Библиографические записки*, т. III, 1861, № 4, стр. 101–116.
- Кохман 1972 – S. Kochman: ‘W. Trediakowski w kręgu polskich wpływów językowych’, *Acta Universitatis Wratislaviensis*, п. 170, *Slavica Wratislaviensia*, III, 1972, стр. 39–54.
- Кохман 1977 – S. Kochman: ‘Podły i jego innojęzyczne nawiązania (Z badań nad słownictwem slowiańskim)’, *Poradnik językowy*, 1977, zeszyt 10 (354), стр. 425–432.
- Кузьмина 1964 – В. Д. Кузьмина: *Рыцарский роман на Руси (Бова, Петр Златых Ключей)*, М., 1964.
- Куник 1853 – [А. А. Куник]: ‘Штелинов реестр официальных бумаг, относящихся к истории Академии от 1725 по 1749 год’, *Ученые записки Императорской Академии Наук по 1-му и 3-му отделениям*, т. II, вып. 1, СПб., 1853, стр. 156–173.
- Куник 1865 – *Сборник материалов для истории Императорской Академии Наук в XVIII веке*, ч. I–II. Издал А. Куник, СПб., 1865. Продолжающаяся пагинация в обеих частях.
- Куприанов 1853 – И. Куприанов: ‘К Зоилу (образец старинных критик)’, *Москвитянин*, 1853, № 7, стр. 124–126.
- Ларин 1959 – Б. А. Ларин: *Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.)*, Л., 1959.
- Летопись жизни Ломоносова – *Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова*. Под редакцией А. В. Топчиева, Н. А. Фигуровского и В. Л. Ченакала, М.-Л., 1961.
- Ломоносов, I–XI – М. В. Ломоносов: *Полное собрание сочинений*, т. I–XI, М.-Л., 1950–1983.
- Лонгинов 1871 – М. Н. Лонгинов: ‘Последние годы жизни А. П. Сумарокова (1766–1777)’, *Русский архив*, 1871, № 10 (стлб. 1637–1717), № 11 (стлб. 1956–1960).
- Лотман и Успенский 1975 – ‘Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры (“Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка” – неизвестное сочинение Семена Боброва)’. Статья, публикация и комментарий Ю. Лотмана и Б. Успенского, *Ученые записки Тартуского Государственного Университета*, вып. 358, *Труды по русской и славянской филологии*, XXIV, Тарту, 1975, стр. 168–322.
- Лудольф 1696 – Henrici Wilhelmi Ludolfi *Grammatica Russica quæ continet non tantum præcipua fundamenta Russicae Linguae, verum etiam Manuductionem quandam ad Grammaticam Slavonicam. . .*, Oxonii, A.D. MDCXCVI. Факсимильное воспроизведение: Henrici Wilhelmi Ludolfi *Grammatica Russica* Oxonii A.D. MDCXCVI. Ed. by V. O. Unbegaun, Oxford, 1959.
- Лукин 1765, I–II – *Сочинения и переводы Владимира Лукина*, ч. I–II, СПб., 1765.
- Лукин и Ельчанинов 1868 – *Сочинения и переводы Владимира Игнатьевича Лукина и Богдана Егоровича Ельчанинова*. С портретом Ельчанинова и со статьей о Лукине А. Н. Пыпина, СПб., 1868 (= *Русские писатели XVIII и XIX ст.*, под ред. П. А. Ефремова).
- Масса 1937 – Исаак Масса: *Краткое известие о Московии в начале XVII в.* [Перевод с голландского А. А. Морозова], М., 1937 (= *Иностранцы путешественники о России*).
- Материалы АН, I–X – *Материалы для истории Императорской Академии Наук*, т. I–X, СПб., 1885–1900.

- Модзалевский 1937 – *Рукописи Ломоносова в Академии наук СССР*. Научное описание. Составил Л. Б. Модзалевский. Л.-М., 1937 (= Труды Архива АН СССР, вып. 3).
- Модзалевский 1958 – Л. Б. Модзалевский: 'Ломоносов и его ученик Поповский (О литературной преемственности)', *XVIII век*. Сборник 3, М.-Л., 1958, стр. 111–169.
- Модзалевский 1962 – Л. Б. Модзалевский: 'Ломоносов и "О качествах стихотворца рассуждение"' (Из истории русской журналистики 1755 г.), *Литературное творчество М. В. Ломоносова*. Исследования и материалы, М.-Л., 1962, стр. 133–162.
- Моисеева 1973 – Г. Н. Моисеева: 'К истории литературно-общественной полемики XVIII века', *Искусство слова*. Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Дмитриевича Благого, М., 1973, стр. 56–64.
- Неустроев 1874 – А. Н. Неустроев: *Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703–1802 гг., библиографически и в хронологическом порядке описанных*, СПб., 1874.
- О Феофии... – 'О Феофии В. К. Тредиаковского', *Москвитянин*, 1851, № 19–20, стр. 536–552.
- Пекарский, I–II – П. Пекарский: *История Императорской Академии Наук в Петербурге*, т. I–II, СПб., 1870–1873.
- Пекарский 1865 – П. Пекарский: 'Дополнительные известия для биографии Ломоносова', СПб., 1865. Отгиск из изд.: *Записки Императорской Академии Наук*, т. VIII, кн. 2, прилож. № 7, СПб., 1866.
- Пекарский 1866 – П. П. Пекарский: 'Материалы для биографии Тредиаковского', *Записки Императорской Академии Наук*, т. IX, кн. 2, СПб., 1866, стр. 175–191. То же в изд.: *Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук*, т. I, СПб., 1867, стр. XI–XXVII.
- Пекарский 1868 – П. П. Пекарский: 'Записка о Тредиаковском', *Записки Императорской Академии Наук*, т. XIV, СПб., 1868, стр. 71–80. То же в изд.: *Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук*, т. VII, СПб., 1870, стр. XXVI–XXXV.
- Пеннингтон 1980 – А. Е. Pennington: *Grigorij Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Michajloviča*. Text and commentary, Oxford, 1980.
- Перетц 1911 – В. Н. Перетц: 'К биографии М. В. Ломоносова (Кто был "Христофор Зубницкий"?)', *Ломоносовский сборник*, СПб., 1911, стр. 85–103.
- Письма и бумаги Петра, I–XII – *Письма и бумаги императора Петра Великого*, т. I–XII, СПб.-М., 1887–1977.
- Письма русских писателей XVIII века – *Письма русских писателей XVIII века*, Л., 1980.
- Поэты XVIII века, I–II – *Поэты XVIII века*, т. I–II. Вступительная статья Г. П. Макогоненко. Биографические справки И. З. Сермана. Составление Г. П. Макогоненко и И. З. Сермана. Подготовка текста и примечания Н. Д. Кочетковой и Г. С. Татищевой, Л., 1972 (= Библиотека поэта, большая серия).
- Протасьева, I–II – *Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева)*. Составила Т. Н. Протасьева, ч. I–II, М., 1970–1973.
- Протоколы АН, I–IV – *Протоколы заседаний Конференции Академии Наук с 1725 по 1803 г.*, т. I–IV, СПб., 1897–1911.
- Разоронова 1959 – А. В. Разоронова: 'Неизвестное письмо В. К. Тредиаковского', *Из истории русской журналистики*. Под редакцией А. В. Западова, М., 1959, стр. 205–216.
- Рапен, 1675 – [R. Rapin]: *Reflexions sur la poetique de ce temps, et sur les ouvrages des Poetes anciens & modernes*. Seconde Edition revue et augmentée, Paris, 1675.
- Резанов 1931 – В. И. Резанов: 'Из разысканий о комедиях Сумарокова (отрывки)', *Памяти П. Н. Сакулина*. Сборник статей, М., 1931, стр. 233–238.
- Рулин 1929 – П. И. Рулин: 'Первая комедия Сумарокова', *Известия по русскому языку и словесности*, т. II, 1929, кн. 1, стр. 237–269.
- Сб. РИО, I–CXLVIII – *Сборник Русского Исторического Общества*, т. I–CXLVIII, СПб., 1867–1916.
- Сечихин 1732 – [И. Сечихин]: *К Меценату; Беспристрастному читателю; К Зоилу* [предисловия Ивана Сечихина к переведенному им в 1732 г. с латыни "Анфроскопии" Андрея Оттона Кольберга Померана]. – Государственная библиотека СССР им. Ленина, отдел рукописей, ф. 29, собр. И. Д. Беляева, № 47 (1559), л. 1–4 об.;

- другой список см. там же, ф. 200, собр. Ниловой пустыни, № 82, л. 1–9 об. Предисловие ‘К Зоилу’ опубликовано Куприяновым (1853, 124–126) и частично Викторным (1881, 28–31). Относительно авторства Сечихина см.: Куник 1853, 157, 169; Соболевский 1908, 32, примеч.; ср. еще: Кобеко 1861, стлб. 111–112.
- Соболевский 1908 – А. И. Соболевский: *Из переводной литературы Петровской эпохи*. Библиографические материалы, СПб., 1908 (= Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. LXXXIV, № 3).
- Сумароков, I–X – Н. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе... Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы в удовольствие Любителей Российской Учености Николаем Новиковым... [изд. 2-е], ч. I–X, М., 1787.
- Сумароков 1957 – А. П. Сумароков, *Избранные произведения*. Вступительная статья, подготовка текста и примечания П. Н. Беркова, Л., 1957 (= Библиотека поэта, большая серия).
- Сухомлинов, I–V – *Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомлинова*, т. I–V, СПб., 1891–1902.
- Теплов 1755 – [Г. Н. Теплов]: ‘О качествах стихотворца рассуждение’, *Ежемесячные сочинения*, 1755, май, стр. 371–398. Переиздано (с неправильным указанием автора): Берков 1935, 336–351; Берков 1936, 179–190. Относительно авторства Теплова см.: Модзалевский 1962.
- Томашевский 1959 – Б. В. Томашевский: *Стилистика и стихосложение*. Курс лекций, Л., 1959.
- Тредиаковский, I–III – *Сочинения Тредиаковского*. Издание Александра Смирдина, т. I–III, СПб., 1849 (= Полное собрание сочинений русских авторов).
- Тредиаковский 1730 – [В. К. Тредиаковский]: ‘К читателю’, в изд. *Езда в остров Любви*. Переведена с Французского на Руской чрез Студента Василья Тредиаковского... , СПб., 1730. Переиздано: Тредиаковский, III, 647–651.
- Тредиаковский 1735 – *Новый и краткий способ к сложению Российских стихов с определениями до сего надлежащих званий* чрез Василья Тредиаковского, С. Петербургския Императорския Академии Наук Секретаря, СПб., 1735. Переиздано: Куник 1865, 17–74; Тредиаковский 1963, 365–420.
- Тредиаковский 1744 – [В. К. Тредиаковский]: ‘Для известия’, в изд. *Три оды парафрастическая псалма 143*, сочиненная чрез трех стихотворцов, из которых каждой одну сложил особливо, СПб., 1744. Переиздано: Куник 1865, 421–424; Тредиаковский 1963, 421–424.
- Тредиаковский 1748 – *Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи*, сочинен Васильем Тредиаковским, профессором елоквенции, СПб., 1748. Переиздано: Тредиаковский, III, 1–316.
- Тредиаковский 1751 – [В. К. Тредиаковский]: ‘Предуведомление от трудившагося в переводе’, в изд. *Аргенида. Повесть героическая*, сочиненная Иоанном Барклаием, а с латинскаго на славено-российский переведенная и Митологическими изъяснениями умноженная от Василья Тредиаковского, профессора елоквенции и члена Императорския Академии Наук, т. I, СПб., 1751.
- Тредиаковский 1752, I–II – *Сочинения и переводы как стихами так и прозою* Василья Тредиаковского, т. I–II, СПб., 1752.
- Тредиаковский 1766 – [В. К. Тредиаковский]: ‘Предъизъяснение об Ироической Пииме’, в изд.: *Тилемахида или Странствование Тилемаха сына Одиссея*, описанное в составе Ироической Пиймы Васильем Тредиаковским, Надворным Советником, Членом Санктпетербургския Императорския Академии наук, с Французския нестихословныя речи, сочиненная Франциском де-Салиньяком де-ла-Мотом Фенелоном... , т. I, СПб., 1766. Переиздано: Тредиаковский, II, 1, стр. III–LXXIX.
- Тредиаковский 1849 – В. К. Тредиаковский: *Избранные сочинения*, М., 1849 (= Собрание сочинений известнейших русских писателей, вып. III. Издание П. Перевлесского).
- Тредиаковский 1963 – В. К. Тредиаковский: *Избранные произведения*. Вступительная статья и подготовка текста Л. И. Тимофеева. Примечания Я. М. Строчкова, М.-Л., 1963 (= Библиотека поэта, большая серия).
- Успенский 1968 – Б. А. Успенский: *Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России)*, М., 1968.
- Успенский 1971 – Б. А. Успенский: *Книжное произношение в России (Опыт истори-*

- ческого исследования). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук, М., 1971.
- Успенский 1973 – Б. А. Успенский: 'Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова (Историко-филологический этюд)', *Semiotyka i struktura tekstu. Praca zbiorowa pod redakcją M. R. Maenowej*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973, стр. 103–129.
- Успенский 1974 – Б. А. Успенский: 'Доломоносовский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский', *Вопросы языкознания*, 1974, № 2, стр. 15–30.
- Успенский 1975 – Б. А. Успенский: *Первая русская грамматика на родном языке (Доломоносовский период отечественной русистики)*, М., 1975.
- Успенский 1976 – Б. А. Успенский: 'Тредиаковский и история русского литературного языка', *Венок Тредиаковскому*, Волгоград, 1976, стр. 40–44.
- Успенский 1983 – Б. А. Успенский: *Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка*, М., 1983 (= IX Международный съезд славистов. Доклады).
- Хютль-Ворт 1956 – G. Hüttl-Worth: *Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert*, Wien, 1956.
- Шицгал 1974 – А. Г. Шицгал: *Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения*, М., 1974.
- Шишкин 1983 – А. Б. Шишкин: К творческой истории "Феоптии" Тредиаковского. Доклад на заседании Группы XVIII века Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома) 28 июня 1983 г. (не опубликован).